

Надежда и Николай
ЗОРИНЫ



*Ты уверен, что
сам управляешь своим разумом?*

*Ловушка
памяти*

Игры чужого разума

Николай Зорин

Ловушка памяти

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Зорин Н.

Ловушка памяти / Н. Зорин — «Эксмо», 2017 — (Игры чужого разума)

ISBN 978-5-699-95392-9

Наталья уже давно догадалась – муж Михаил изменяет ей с ее сестрой Мариной. Но о том, что ребенок, которого сестра должна вот-вот родить, тоже от него, Наталья узнала только на следующий день после похорон... Михаил решил отметить годовщину их свадьбы, но вдруг выбежал из-за праздничного стола в соседнюю комнату и... выбросился из окна! Наталья еще не знала, что незадолго до гибели муж получил по электронной почте фильм, в деталях воспроизводивший сцену самоубийства... Неужели оно было кем-то спланировано? Ранее роман издавался под названием «Пленница кукольного дома»

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-95392-9

© Зорин Н., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Пролог	6
Глава 1	8
Глава 2	19
Глава 3	25
Глава 4	37
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Надежда и Николай Зорины

Ловушка памяти

© Зорина Н., Зорин Н., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Пролог

Я еще долго буду кричать. Так же страшно кричать, как сейчас кричит эта женщина на улице. Целый год кричать, душа ведь не лечится. Я боялась услышать его слова, а услышала крик. Я так боялась, я не знала, не думала... даже предположить не могла...

Меня праздник сбил с толку, совершенно незапланированный праздник, устроенный вдруг мужем. Мы никогда не отмечали годовщины нашей свадьбы, отсчет совместного житья-бытья вели со дня знакомства. И это считалось единственно правильным, мы даже и не обговаривали это специально, само собой разумелось. В самом деле, не вести же отсчет счастья от штампа в паспорте? Я и дату-то точно не помнила – то ли семнадцатого, то ли восемнадцатого.

Вот и сегодня я совершенно не думала, что у нас с Максом праздник. Пришла домой и удивилась, с чего он так вырядился: в костюме, при галстукe? Мой муж никогда костюмов не носил, только однажды, на свадьбу, и надел. Я ужасно удивилась, растерялась, а он, вместо того чтобы объясниться, сунул мне в руки целлофановый пакет с фирменным знаком магазина для невест и женихов «Валентин» и подтолкнул к двери спальни.

В пакете оказалось красное вечернее платье с открытой спиной (я таких не ношу) и туфли-лодочки на высоченных шпильках (я в таких не хожу). Я спросила, для чего весь этот маскарад, а он ответил, что у нас ведь праздник и странно, что я о нем забыла.

Праздник... Да никогда в жизни не праздновали мы дни свадьбы!

В красный наряд мне пришлось облачиться. В большой комнате – она же гостиная, приемная, зал для танцев – был накрыт стол. Может, это меня окончательно сбilo и я не смогла понять... Предчувствий не было! Было больно и страшно, потому что я подумала: это наш последний совместный ужин, именно сегодня Макс мне скажет... А ведь я уже начинала надеяться... ведь я уже почти смогла себя обмануть...

Зачем он мне платье купил, такое ужасное – чужое, красное? Зачем обрядился в костюм? Затем, чтоб сказать. Вот о чем я подумала. А еще я подумала: эта женщина в красном – чужая, не я, этот мужчина в костюме – почти не мой муж. Может быть, он для того и придумал маскарад – чужой женщине будет проще сказать? Но... В красном наряде мне будет труднее услышать...

Он разлил вино по бокалам – не наше, чужое вино, мы никогда не пили «Божоле». Чуть наклонился ко мне.

– Наташа!

Он никогда не называл меня Наташей. В нашей жизни Наташе просто не было места. Были Таха, Татуха, Татович – Макс всегда относился ко мне чуть-чуть иронически и уж очень по-свойски.

Впрочем, в ужасном новом платье я – уже и не я. Чужая женщина в красном, вероятно, и есть Наташа.

– Наташа, я должен тебе сказать...

Я не знала, не знала, **что** он хочет сказать! Разве я могла **это** знать? Я подумала: сейчас он скажет, что это наш последний совместный ужин – прощальный ужин. Скажет, и все будет кончено. И я тогда, наверное, умру. Не сразу, конечно, – умирать буду долго.

– Наташа...

Как же все неожиданно!

Весь последний год я ждала, что он скажет, а теперь вот подумала – как же неожиданно.

Но ведь весь этот год я надеялась, что он не скажет. Обманывала себя и почти обманула. Больше надеяться не на что. А может, я сейчас ошибаюсь, и красно-костюмный маскарад не к тому?

– Наташенька...

Подожди, подожди! Я еще не готова! Я так не могу. Я почти подготовилась, но пока не могу. Чуть-чуть подожди, минутку мне дай...

Да он и сам не торопится. Не может сказать? Да, сказать трудно. Обнял ножку бокала рукой и никак не соберется с силами.

Поднялся. Неужели так проще? Момент торжественный – объявление приговора нашей жизни. Я тоже зачем-то встала. Душное красное платье, и туфли жмут... Пусть сначала поздравит с днем свадьбы, раз уж решил объявить свой приговор в этот день.

– Наташа, я нас поздравляю. Девять лет мы прожили вместе...

Не девять, а восемь, последний год не в счет. Мы его прожили врозь, хоть и усиленно делали вид, что ничего не происходит: я ни о чем не спрашивала, потому что боялась услышать то, что сегодня он решил мне наконец сказать, а Макс, вероятно, боялся сказать...

Он и сейчас боится.

– Мы счастливо прожили девять лет, но... Наташенька!

Душа – это тоже орган человеческого тела. Такой же, как сердце, желудок и печень. Только душа не лечится. Я умру через год или чуть раньше. От рака души, в ужасных мучениях. Мои дети, которых я так и не смогла доносить и родить, умерли легче.

Плачет? Он плачет? Максим! Бедный мой, бедный! Я его отпущу. И смертный грех его отпущу, только пусть он не плачет.

– Наташенька, милая! Прости меня... У меня просто нет выхода. Я не могу, не могу... Выхода нет.

Да, выхода нет. Он скажет сейчас, и я...

– И потому...

Не сказал, не решился. Вернее, недосказал. Пока. Поставил бокал на стол и вышел из комнаты. Наверняка – сил набираться.

Выхода нет. Да, выхода нет. Сейчас он вернется и доскажет.

Я думала только об этом. О нашем прощании я думала. И не было у меня никаких предчувствий.

Даже когда грохнуло в спальне окно, я ничего не почувствовала. Вяло подумала: ему тоже душно. Плохо, душно и больно. И еще подумала: а может, я и больше года протяну – умирание растянется на срок больше года. Наверное, он станет меня навещать, когда мы расстанемся. Не часто, раз в месяц, как навещают могилу на кладбище. И прощения просить, как просят прощения у мертвых. Заживо мертвой я буду жить год. Или больше.

И тут я услышала крик. Страшный женский крик. И подумала, что это я кричу. И долго так думала, пока не поняла, что звук доносился с улицы, что не я, а какая-то чужая женщина кричит. А следом за криком я услышала удар, стук – тревожный стук. Так, наверное, стукнулось бы о землю тело, выпавшее из окна.

О чем кричит та женщина?

Я буду так же кричать, весь год кричать.

Максим сейчас вернется и скажет...

Максим!

Я наконец поняла и бросилась в спальню. Окно было распахнуто. Максима в комнате не было.

Глава 1

Наталья

Похороны я прожила под надзором. Меня сестра опекала. Она и дальше собиралась меня опекать, да вот незадача – на следующий день у нее случились преждевременные роды. А может, я путаю, и это было не на следующий день? Я все время сбиваюсь: что-то случилось со временем. Нет, не так! С самим временем ничего не случилось, это у меня с ним произошел разлад. Все из-за анальгетиков. Анальгетиками я называю... чтобы как-то оправдаться... перед кем-то... перед собой (перед кем же еще?), ведь сестра в больнице и опекать меня больше некому... В общем, то, что сейчас делаю, я называю: принимать анальгетики. Для души анальгетики. Ведь рак души приступил уже к своей страшной работе, так что... Мне ничего другого и не остается! Раковых больных, когда понимают, что лечить их дальше бессмысленно, всегда сажают на анальгетики. Вот и я себя на них посадила, поскольку... Ну да, душа ведь не лечится.

На самом деле я попросту пью. Пью все подряд – что предлагают, то и заказываю. Перехожу из бара в бар и пью, пью... Кажется, уже шестой день. Впрочем, со временем у меня полный разлад: может, и не шестой.

Марину, наверное, уже выписали из больницы. Надо бы хоть на пару часов прекратить хлестать водку и прочее – что мне там подают? – и съездить навестить сестру. Узнать, как она и... и... И ну да, что с ребенком.

Я не смогу прекратить. И лучше пусть не смогу. Потому что, если я прекращу... Потому что о ребенке я думать не могу. Об этом ребенке не могу! И если я прекра... и если о ребенке буду... и если я ее навещу...

Я навещу ее только затем, чтобы убить.

А ребенок, наверное, умер.

Больше всего в жизни я хотела ребенка. И Макс больше всего в жизни хотел ребенка. Из-за этого все и вышло. То есть не из-за того, что мы хотели ребенка, а из-за того, что его у нас не получилось. Я три раза была беременной и – ничего. Последний раз год назад. Тогда-то тема и была окончательно закрыта, нам сказали, что ребенка у нас не будет никогда.

Кажется, я кому-то об этом только что рассказывала. Не помню. Хотя да, точно рассказывала. Женщине. Она за соседним столиком оказалась и тоже, как и я, была одна, ну я ее и пригласила к себе пересесть. И о ребенке рассказывала. Я вообще сейчас довольно много общаюсь – в барах, все рассказываю и рассказываю о себе. Даже странно, ведь вообще-то я совсем не общительная.

Бокал опустел. Надо бы заказать чего-нибудь. Только никто ко мне не подходит. Самой, что ли, к стойке сходить?

Попробовала встать – не получается. В прошлый раз – я не помню, когда это было, но думаю, что вчера, – меня охранник унес на руках и в такси посадил. Мы даже поцеловались с ним на прощание. А теперь никто не подходит даже водки налить.

– Эй, человек!

Ужасно тянет выкинуть что-нибудь эдакое. На столе станцевать, что ли, потрясая юбками? Правда, юбкой моей не очень-то потрясешь, потому что на мне брюки. Или я вчера переделалась? Нет, точно штаны. Это у меня такой костюм есть, светло-серый, довольно приличный (во всяком случае, до загула он был приличным) – свободные брюки и пиджак: и деловой, и не стесняющий движений. Спортивно-деловой, если можно так выразиться.

Подошел, наконец, урод. И точно! Как таких на роль официантов можно принимать? Должен же быть у них какой-то отбор, элементарный конкурс красоты.

– Что вы можете предложить даме, несостоявшийся красавчик?

– Вы о чем?

Да он не только урод, он еще и кретин!

– В смысле выпивки.

– А... Карта вин на столе, перед вами. Выбирайте.

О господи! Он не только урод и кретин, он еще и хамло!

– Я предпочитаю, когда за мной ухаживают.

– У нас не принято. И вы это... вообще...

– Что вообще? Утратила свежесть? Да, вероятно, утратила. Я пью шестой день! И ты бы утратил. Впрочем, ты ею и не располагал. Я мужа похоронила, понимаешь? А сестра моя оказалась порядочной сукой. Да и муж, в общем, сука. Ты присаживайся, выпивка за мой счет, я тебе расскажу. А лучше давай-ка отсюда свалим, надоело мне здесь. Бар ваш совершенно лишен... В общем, ни этики тут, ни эстетики. И никакой душевности. Пойдем, я знаю одно местечко, здесь недалеко.

– Да вы что! Я не могу! Я на работе!

– Наплевать на твою работу!

Остекленел глазами. Рожа прыщавая пятнами пошла. Ручонку свою потную дергает, а выдернуть не может – хватка у меня еще вполне и вполне.

– Да отцепите вы пальцы! Я позову охрану! – завопил урод, кретин и хамло.

Не позовет, куда ему! От стыда умрет, если узнают, что к нему пьяная баба пристала, а он справиться не смог.

– Да пустите же!

– Ладно, вали.

Надоел он мне – липкий и потный какой-то тип, даже разыгрывать такого неинтересно. Да и настроение пропало выкидывать фортели. Черт с ним, пусть катится. И я, пожалуй, отсюда пойду. В самом деле бар этот мне опротивел.

Подняться бы только. Ну-ка, о стол опереться руками и вытянуть тело, как репку...

Встать получилось, а вот устоять не очень выходит. Надо попробовать снова.

* * *

Где я? Твердо, темно и холодно. Как в гробу, честное слово, только воздуха много – дыши не хочу. Ветер. Наверху, над головой, что-то шуршит.

Ветер колышет дерево, листва шебуршится. Вот оно что, я на улице! Сажу на скамейке. А она где – в сквере, в каком-нибудь парке, в моем дворе?

Я в баре была. Как я здесь оказалась? И где это – здесь?

Надо бы отсюда выбираться. Понять, где я, а затем разработать план своего спасения.

Сумка при мне – уже хорошо. И кошелек на месте, и телефон. Можно вызвать такси.

Когда пойму, куда его вызывать.

Тело мое оказалось вполне мобильно: легко поднялось, легко пошло по дорожке. Под ногами – о радость! – дорожка, и, кстати, очень похожая на ту, что у нас в скверике напротив дома.

Напрасная надежда! Это не мой сквер. Совсем не мой – незнакомый какой-то сквер. И деревьев слишком много. Неужели парк? Вот ужас! В нашем районе нет ни одного парка.

Ну вот, так и есть: я у черта на куличках. Как я сюда вообще забралась?

Надо сесть на скамейку, сосредоточиться и постараться вспомнить. Благо скамеек, как и деревьев, полно...

Вспомнила! Почти все вспомнила! Я из бара поехала на такси – тот урод помог мне в него сесть. Только, наверное, адрес я назвать была уже не в состоянии, вот меня здесь и выгрузили.

Ну что ж, теперь я в состоянии назвать адрес. И идти в состоянии, и даже довольно длинные дистанции способна преодолевать.

Что там светится?

Ха! Еще какой-то бар!

Не заглянуть ли на огонек? Оттуда и такси вызвать можно...

Нет, на сегодня с меня хватит, надо ехать домой.

Но в бар все же пойти придется – не к скамейке же в парке такси вызывать? Тем более совершенно не ясно, в каком парке эта скамейка.

Парк. Ненавижу парки! В парках не гуляют мои дети – я не смогла их родить.

А Марина вот взяла и родила. Зачала, выносила и родила. Преждевременного, слабенького, но все же.

Сволочи! Как могли они так? Впрочем, Макса бог уже наказал, а Марину...

Я убью ее. Вот просохну и убью.

В бар, в бар! Что мне делать дома? Не поеду я домой, в баре останусь, если он – ночной бар. Мне нельзя останавливаться.

Я опять поднялась, легко пошла по дорожке. В голове совсем просветлело, и, как следствие, сразу же мысли дурные зашевелились: убить, убить... И каблук тоже выстукивают: убить, убить...

Скорее в бар! Пока не поздно, в бар!

Улица совершенно безлюдна, и машин почти нет – наверное, уже глубокая ночь. В какой же район меня занесло? Кажется, я здесь никогда не была. А впрочем, неважно. Бар под нелепым названием «Сью» открыт.

Народу тут оказалось совсем немного. Я выбрала столик у окна, пристроила сумку на спинку стула – если положить на соседний, подумают, что он занят, что я не одна, и никто не подсядет. А я хочу, чтобы подсели, все равно кто: мужчина, женщина, гермафродит... Мне нужно сказать... рассказать... о том, что жила на свете одна женщина, и не было у нее детей, а ей так хотелось иметь ребеночка. И колдуньи, к сожалению, под рукой не случилось. Зато случились остроумно мыслящий муж и сестра-сволочь. Ребеночка они решили завести друг от друга.

Официант подошел. Ему рассказать? Нет, с официантами у меня что-то контакта не получается – не чуткий народ, до чужих историй им нет никакого дела.

– Сто граммов «Абсолюта».

Контакта с ним не получится, пусть несет водку и валит прочь.

– На закуску что будете брать?

Хм, филе из внебрачного сына...

– Апельсины у вас есть?

– Вы хотите закусывать водку апельсином?

– Да, хочу. Я все и всегда закусываю апельсином.

– Ну... хорошо. Вам почистить?

– Если не затруднит.

Стоит, не уходит. Принял заказ, а все равно не уходит. Что ему надо? Нарывается на рассказ? Вряд ли, скорее всего думает, что я неплатежеспособна – вид, наверное, у меня еще тот, после шести-то дней загула.

– Сколько с меня?

– Двести семьдесят восемь.

Получил деньги и тут же ретировался – значит, я угадала. Вот, у меня уже аналитические способности проявляться начали.

Лучше бы они раньше проявились, когда я узнала, что Маришка беременна. И когда поняла, что Макс мне изменяет. Но тогда мне и в голову не пришло сопоставить – их друг с другом я никак не связывала.

Водку принесли. Как кстати! Пора принять свой анальгетик, чтобы не сдохнуть.

Хорошая водка. Бар так себе, а водка вполне и вполне.

А идея, кстати, надо отдать Максиму должное, была и правда остроумной. Только уж очень подлая. Я, когда узнала, что детей у нас точно не будет, предложила взять чужого и усыновить, но он наотрез отказался. Возможно, в чем-то он был прав: чужой – он, конечно, не свой. Наверное, тогда-то я его и подтолкнула к той подлой, но остроумной мысли, сама не зная того, подтолкнула: что он может завести своего ребенка почти от меня – от моей сестры. По замыслу Макса я ни о чем никогда не должна была узнать: воспринимала бы ребенка, как племянника, наверное, полюбила бы его – как племянника, разумеется. И Максим делал бы вид, что ребенок – ему только племянник. И Марина делала бы вид, что нам он только племянник. А в общем, племянник он или нет, – все равно ребенок, один на троих, родной, свой ребенок. Эти доводы он тогда сестре и привел. И она согласилась. Но, конечно, все не так прямолинейно вышло. Не то чтобы Макс сразу, с порога, брякнул: давай, Маришка, заведем ребеночка. Исподволь действовал – окрутил, соблазнил. А когда она об аборте заговорила, тогда и привел свои доводы – рациональные, трезвые, подлые доводы. Но с самого начала, соблазняя ее, Макс имел в виду только ребенка. У них все произошло с точностью до наоборот: Марина влюбилась, и потому ребенка решила оставить, на Максимовы доводы клюнула, а Макс ребенка хотел получить, и потому влюбился, да так, что совершенно голову потерял. И в прямом, и в переносном смысле.

Он не хотел меня бросать, но и жить без Марины больше не мог. И понял, что семья, которую он себе вообразил, – уродливая семья, совершенно невозможная семья. И жить такой двойной жизнью уродливо и невозможно.

– Я извиняюсь... Можно?

Пьяное, грузное тело бухнулось рядом на стул. Вот и дождалась собеседника. Вернее, слушателя.

– Пожалуйста.

Слишком пьян, пожалуй. А впрочем, какая мне разница?

– Скучаете?

– Теперь уже нет – вы ведь здесь, со мной.

Господи, что я несу? Да и не подходит он мне совсем. Для целей моих не подходит. По моему, у него на уме только одно: как бы затащить меня в постель. И пьян, слишком пьян.

Да я и сама не трезва.

– Позвольте?

Прикуривает от моей зажигалки. Нет, он слишком развязен.

– О чем вы все думаете? Радоваться надо, не думать. Что наша жизнь? – Он патетически откинул руку, но посмотрел на меня и слегка стушевался. – Ну, вы в курсе.

– Видите ли, у меня умер муж. Вернее, погиб... То есть... он выбросился из окна.

– Поздравляю! Значит, вы свободная вдовушка?

Смеется, подмигивает. Что же я делаю? Зачем стала ему рассказывать? Понимала ведь, что он совсем не тот, кто мне нужен.

– И симпатичная! А не выпить ли нам за упокой его души на брудершафт? А, симпатичная вдовушка?

– Ублюдок!

Я бросилась вон из бара. Кажется, опрокинулся стул – что-то грохнуло. Зачем, зачем, зачем я с ним заговорила? Ведь видела же, видела, какой он урод! Что я вообще делаю? Зачем я это все делаю? Надо домой, надо к сестре – ее, конечно, уже выписали из больницы. За все

время я ей даже не позвонила ни разу и телефон держала выключенным. Я не знаю, чем все кончилось. Может быть, она умерла. Я не вынесу, если и Маришка...

Зачем же я в парк бегу? Назад, в этот ужасный парк... Мне надо домой. Нет, мне к Марине надо.

А если тот ублюдок из бара за мной увязался? Посмотреть, обернуться? В парк бежать в любом случае нельзя.

Да я уже в парке! Где тут выход? Дорожки, деревья, скамейки... Я не знаю, как отсюда выбраться!

Карусели. Я думала, что повернула назад, а оказывается, в самый центр забежала. Теперь уж точно выхода не найти.

Что мне делать? Я не знаю, в каком парке очутилась, совершенно ничего не узнаю. Наверное, я здесь никогда не была. И ветер поднялся, деревья так жутко шумят... Ночью в парке почти как на кладбище. Да где же тут выход?

Впереди что-то темное, огромное. Вода. Пруд? Озеро? Вот, наверное, я где – это Солдатское озеро с примыкающим к нему парком. Я была здесь когда-то. Давно. Мы с Максом ходили в Зеленый театр. Там выступал Шевчук, и Макс меня пригласил, он еще не знал моих вкусов. А потом выяснилось, что Макс тоже к «ДДТ» весьма равнодушен. Но тогда нам обоим было неудобно, и ему, и мне, и мы долго вешали друг другу лапшу на уши, выражая бурный восторг от концерта – любить «ДДТ» считалось хорошим тоном.

А может, это вовсе и не Солдатское озеро? Мало ли парков с озерами... Да чуть ли не в каждом есть хоть какой-нибудь водоем. Где же тут выход, черт возьми!

Выбралась наконец на дорожку. Вот по ней и надо идти – асфальтовая дорожка в любом случае должна привести к началу. Или к концу. Все равно к выходу.

Забор. А вон там черный провал – выход. Теперь можно не беспокоиться – выбралась. Сяду на скамейку и чуть-чуть отдышусь. Спина совсем мокрая, блузка противно липнет. И лицо горит ужасно. Как будто мне надавали пощечин.

Я Маришку ударила, сильно, наотмашь, по лицу. Перед тем, как вызвать «Скорую». И убежала, не дождавшись приезда бригады.

Все случилось на следующий день после похорон. Марина у меня ночевала, а утром ей понадобилось за чем-то срочно поехать домой. Мне позвонили из редакции журнала, где я подвизаюсь переводчиком – есть в нашем городе этакая «Иностранка» местного пошиба. Позвонили, потому что возникли какие-то проблемы с названием последнего рассказа, который я перевела, и попросили подъехать. В том состоянии, в котором я тогда пребывала, толку от меня было чуть, но я все равно поехала и даже обрадовалась, что можно двигаться и что-то делать. А из редакции направилась не домой, а к сестре – возвращаться в пустую квартиру я просто физически не могла.

Дверь она не открывала. Я звонила, звонила, не могла перестать, такое отчаяние на меня накатило, такая невыносимая тоска. Это была последняя черта, я поняла, что больше не выдержу, и разрыдалась в голос. Мне не доехать до дому – силы кончились. Их и было-то всего ничего, только чтобы до редакции добраться, а потом до Марины, а теперь я обязательно попаду в аварию, сойду с ума, сгину, пропаду. Я рыдала, звала сестру и давила, давила на кнопку. А потом вспомнила, что у меня ведь есть ключ от ее квартиры. И когда поняла это, впала в такое блаженство, что совсем ослабела. Руки и ноги отказались служить мне, и глаза сами собой стали закрываться. Я опустилась на коврик, привалилась спиной к двери и долго-долго так сидела. В тот момент я испытала такое счастье, какого не испытывала, наверное, никогда в жизни – чисто физическое ощущение счастья. На несколько секунд я даже уснула, и мне приснилось что-то такое же счастливо-блаженное.

А потом я вошла в квартиру...

Зачем я все это стала опять вспоминать? Теперь снова придется напиться вдрызг, а ведь я уже думала, что начинаю приходить в себя и в состоянии держаться. И к Марине думала пойти, а теперь...

Мне нужен глоток водки, мартини, бренди, чего угодно. И срочно, срочно! Я в начале пути, я в самом начале пути своей болезни – я еще не привыкла к такой боли. Я буду кричать, страшно, дико кричать, я разобью эту ночь своим криком, я разможу себе голову о ближайшее дерево... Спасите меня, спасите! Да, я малодушная и слабая, но какая уж есть, меня бог такой создал – это его промашка, а с меня нечего спрашивать.

Подняться и пойти в какой-нибудь бар, в любой, какой окажется на моем пути, пусть даже назад, в тот, где хам и подонок на брудершафт за упокой души моего мужа предлагал выпить. У меня нет больше гордости, у меня нет больше стыда, у меня нет больше сил.

О, знакомые места! Я вышла туда же. А вон и бар с глупым названием «Сью». Я пойду туда – мне не стыдно. И закажу еще водки, граммов двести.

– Здравствуйте, это снова я. А это вы? Ну да, вы, мы с вами уже имели честь сегодня...

– Да, да, помню. Сто «Абсолюта»? Апельсин почистить?

– Почистить. А «Абсолюта» двести.

– Не слишком ли? Я имею в виду, вам не поплохеет?

– Ничего, мы привычные. Тащи двести. Сколько с меня? Плачу вперед, чтобы не возникло сомнений в моей платежеспособности.

– Да ладно, вы уже свой человек. Можно сказать, постоянный клиент.

Да нет, нормальный парень, этот официант, я была не права. А того пьяненького хамоватого моего визави вроде уже нет. Прекрасно. Но, возможно, я и на его счет была не права: он, наверное, мне не поверил, решил, что пьяная одинокая тетка хочет подцепить на ночь мужичка, а разговоры о смерти мужа у нее такая форма знакомства.

Вот и водка моя прибыла. Хорошая все-таки у них здесь водка, легко пьется. И апельсин прохладный и сочный. И воспоминаниям моим больше не больно.

Я тогда в квартиру вошла... Да, вспоминать уже не больно. Даже сладко и хочется плакать, тихо и умиротворенно.

В квартире сестры моей две комнаты и огромная кухня. Маришке всего двадцать пять, три года назад она окончила университет, а уже вполне прилично устроилась: фирма, в которой она работает, процветающая и хорошо оплачивает труд своих сотрудников, даже жилье помогает приобрести в рассрочку.

Я могу вспоминать, теперь могу. Еще немного водки, и совсем смогу.

Ну вот. Я вошла. Повесила в прихожей пиджак. Пристроила на полку сумку, разулась. Подумала, хорошо бы немного поспать – до прихода Марины. Прикорнуть на диванчике в гостиной, чтобы не разбирать постель. И вдруг услышала стон, или нет, скорее крик, заглушенный подушкой. И не поверила, своему слуху не поверила, потому что, кто же тут может кричать, если в квартире нет никого? Я не почувствовала несчастья, нового несчастья, совсем не почувствовала.

В спальне на полу, возле кровати, как-то нелепо скорчившись, сидела Марина. Я не поняла, что у нее роды начинаются – до положенного срока ведь почти два месяца, – и рассердилась, что она не открыла мне дверь. Маришка тяжело переживала смерть Макса (я тогда еще не знала почему), и я подумала, что это она из-за него истерит. Но ведь мне-то хуже, мне-то тяжелее, она как бы и права не имеет при мне так расклеиваться. Все это ей и высказала. Сестра ничего не ответила, сидела, слушала и молчала, а потом вдруг лицо ее сморщилось, как от сильнейшей физической боли – откуда мне было знать, что боль в самом деле физическая? – зажала ладонью рот и опять так же сдержанно простонала.

– Да что с тобой? – Меня совершенно вывело из себя такое ее поведение.

– Натах, кажется, началось... – Она виновато улыбнулась. – Только ты «Скорую» пока не вызывай, подожди минутку. Я должна тебе что-то сказать.

– Что сказать?! При чем тут «Скорая»?

Но наконец до меня дошло, что происходит. Я дернулась бежать в прихожую за телефоном, но Марина ухватила меня за ногу – сестра сидела на полу, я стояла, – и я чуть не упала:

– Подожди! Не звони! Я хочу... я должна сказать... Сейчас должна сказать! Мало ли как получится...

– Ты с ума сошла! Надо скорее, да тебе же совсем плохо... Это опасно! Ты что, хочешь умереть?

– Хочу. – Марина опять улыбнулась. Она все так же ласково мне улыбалась, несмотря на боль, несмотря на свое состояние, несмотря на то, что... Да ведь она в тот момент не могла меня не ненавидеть! И не презирать!

– Замолчи, ты говоришь ерунду. Я вызову «Скорую», и все будет хорошо.

– Я правда хочу умереть, но дело не в том. Я должна... Прости нас, сестренка. Ты простишь, я знаю, ты такая... Ты лучше всех, ты умней и разумнее нас, ты... Это трудно простить, я знаю, но ты сможешь.

– Простить? Кого простить и за что? Ты что, бредишь? Нужно «Скорую» вызвать.

Я почти не слушала ее, у меня тогда одна забота была – вызвать врачей, отправить Марину в больницу.

– Мы с Максом очень виноваты перед тобой. Ты должна нас простить.

– Вы с Максом? В чем виноваты? При чем здесь Макс?

– Макса, кстати, кто-то убил. Он не сам! Произошла такая странная вещь... страшная вещь... Но это потом...

– Ты действительно бредишь: Макс почти у меня на глазах погиб, произошло самое настоящее самоубийство. Мариш, надо все-таки «Скорую»...

– Подожди ты со своей «Скорой»... Ладно, неважно, этим уже занимаются. Я сейчас не о том хочу... Натаня, ты знаешь, от кого у меня ребенок?

– Мариночка, ну какая разница? Зачем об этом сейчас? Ты взрослая, ты захотела. Перед мамой отчитывайся, а меня-то что...

– Ты не понимаешь? Ты действительно не догадалась? Макс так и говорил, но я не верила. Этот ребенок от Макса. Все вышло так странно и так случайно. То есть это я думала, что случайно... А Макс... он его целенаправленно, он специально... Ты же знаешь, как Макс хотел ребенка!

И тут она мне все рассказала. И пыталась меня убедить теми же доводами, какие приводил ей Макс. Я ударила ее, сильно, ужасно. Позвонила в «Скорую» и выбежала из квартиры.

Внизу, во дворе, стояла моя машина. Я не помню, как села в нее, как ехала. Я не помню, куда я приехала. Наверное, все же домой. Я не помню, как оказалась в баре – первом по счету за эти шесть дней страшного пьянства, первом по счету в своей жизни.

И вот я пью и пью, пью все, что мне предлагают, перехожу из бара в бар. Я теперь стала большим специалистом по выпивке, могу дать исчерпывающую характеристику любому напитку, а бары – они, в сущности, не сильно отличаются один от другого.

Я не знаю, что случилось с моей сестрой и ее ребенком – может быть, их уже шесть дней нет в живых. А может, оба здоровы. Тогда, если я когда-нибудь выберусь из своего состояния полной анестезии, я убью сестру, а ее внебрачного сына возьму себе. Этот ребенок мой, только я имею на него право!

Вот я и высказалась до конца – открыла самой себе страшную тайну, которую так тщательно скрывало мое подсознание. Я и не знала, что хочу отнять у сестры ребенка. А ведь это так. Странно, что я не догадалась раньше.

Я захотела его отнять, как только узнала о ее беременности, – пять месяцев назад. И все это время хотела – недалеко же я ушла от своего остроумного мужа! – и даже думала: вот Марина умрет, а ребенок достанется мне.

Нет, нет, никогда я так не думала! Это мне только сейчас в голову пришло. Пьяный бред, надо завязывать с барами...

Думала, думала! Просто себе не решалась признаться. Не думала, так надеялась. Разве нет? Разве я не следила пристально-пристально за здоровьем сестры всю ее беременность? Оттого ли, что беспокоилась за сестру? Нет, рассчитывала, что она умрет во время родов и у меня наконец-то будет ребенок.

Бред! Надо выпить и не городить ерунды. Да, я обижена на Марину. Никогда, наверное, не смогу простить ей предательства. Но смерти я ей не желаю. Да что там, не желаю! Если Марина умрет... Сестра – это последнее, что у меня осталось.

Как я могла не звонить, не приезжать столько дней? Как я могла ее бросить? Даже матери не потрудились сообщить. Надо завтра же поехать и помириться.

Двести граммов водки – это много, даже для меня, новоявленной алкоголички. Мне, пожалуй, не допить. И от апельсинов уже изжога. Я ведь пришла сюда, чтобы вызвать такси.

Куда же подевался телефон? Неужели я его потеряла? Сумка дурацкая, ничего найти невозможно. Кто придумал такую уродливую конструкцию? Заставить бы его всю жизнь в пьяном состоянии искать в ней мелкие вещи...

А, вот он, вовсе не в сумке, я телефон в карман пиджака сунула. Когда, интересно? Упал. И я вслед за ним под стол съехала. Какое неприятное тут половое покрытие: тошно-зеленого цвета и пахнет отвратной химией. Телефон скользит, в руки не дается... Поймала! Теперь бы еще исхитриться номер набрать...

– Вам помочь?

Черные туфли возникли возле самого моего носа. Не понимаю, зачем в крем для обуви добавляют такую душистую вонючесть? Как же меня тошнит!

– Эй, девушка! Вам там удобно?

На какие пальцы эти кнопки рассчитаны? Просто какое-то издевательство! Самой не справиться, нечего и думать. Может, у этого, который в туфлях, получится?

– Ма-алдой чеавек!

С языком, оказывается, тоже проблемы. Что-то я совсем раскисла... Хорошо бы сейчас сесть в такси. Еще лучше – лечь в кровать. Тошнит ужасно! Если закрыть глаза, наверное, станет легче... А если поспать минут пять, хватит сил набрать номер. Плохо, что пол так противно пахнет, и туфли его так противно пахнут...

– Где вы живете? Адрес свой можете назвать? – доносится до меня голос.

Голос настойчиво требовал моего пробуждения. И я пробудилась, открыла глаза – салон автомобиля. Неужели мне все же удалось набрать номер и вызвать такси? Или доброжелательные туфли помогли?

– Адрес свой назовите. Куда ехать-то?

– Набережная Гоголя, двадцать пять.

– Ну слава богу! Я думал, придется везти в вырезатель. Чего же вы так наклюкались? Вроде приличная женщина, а в таком состоянии... С вами что-то случилось? Я хотел сказать, у вас какое-нибудь несчастье?

Какой хороший у него голос – чуткий, душевный. Голос человека, способного слушать. А ведь мне такого и надо, я о таком целых шесть дней мечтаю. Пригласить его к себе? По дороге взять бутылочку чего-нибудь и все рассказать. Рассказывать упоительно долго, весь вечер.

– У меня умер муж.

Нет, настроение рассказывать кончилось. Да и сил не осталось.

– А-а, вот оно что. Понимаю. Дети есть?

И хорошо, что нет настроения рассказывать, никакой он не чуткий.

– Есть! Двое. Мальчик и девочка. – А ведь так могло быть на самом деле, у других ведь бывает. – Мальчик – старший, ему восемь, а дочке четыре.

– Бедные детки! Такое несчастье! Малышка, верно, еще не понимает, а мальчику тяжело: восемь – уже взрослый.

Тяжко! Нет, он мне совсем не подходит. Да и как могла я думать, что вот этот мужик может стать моим конфидендом? Какие у него толстые, грубые пальцы, и лицо грубое...

И вообще нет у меня больше необходимости никому ничего рассказывать – я себе уже все рассказала.

– Дети у бабушки?

– Да.

Ну, чего он прицепился? Какое ему дело, где мои дети? Скорее бы доехать!

– И все-таки вы бы завязывали с этим делом... – Водитель пощелкал пальцем себе по шее. – Ради детей. Вы сейчас должны только о них думать.

Ради детей. Это все – для ребенка... Скорей бы приехать! И отключиться! Как жаль, что я не взяла в баре чего-нибудь покрепче с собой...

– Проснитесь, приехали, – опять вклинивается в мои мысли голос, – Гоголя, двадцать пять. Какой подъезд?

– Третий.

– Сами дойдете? Сможете?

– Дойду. Спасибо.

Я расплатилась и вывалилась из машины.

– А то, может, я вам помог бы?

– Спасибо, не нужно.

– Ну, смотрите.

Вот еще, была нужда в таком провожатом. Посижу пять минут на скамейке и спокойно поднимусь. А он мне без надобности. И вовсе я не спала в такси, так, на секундочку отключилась. И ноги меня уже вполне прилично держат...

Хорошо, что ночь, – скамейка свободна: никаких бабушек-тетушек, сиди себе и сиди.

В нашем дворе гораздо теплее, чем в парке. Впрочем, наверное, я путаю: в парке, помню, спина у меня была мокрой от пота, блузка к ней липла. Нет, не путаю, там действительно было холодно, ветрено, а вспотела я потому, что долго искала выход. Отчаялась его найти, разнервничалась и вспотела. А потом замерзла. Здесь, наверное, от дома идет тепло: за день он нагрелся на солнце, теперь двор обогревает, как печка, которую с утра протопили. Я слышала, не знаю уж когда и при каких обстоятельствах, что печка ценится по тому, как долго может держать тепло.

Ни одно окно не светится. Все давно уже спят. И я могла бы спать. Да я и хочу спать. Надо только найти в себе силы, подняться и лечь...

Совершенно не помню, как я вчера добралась до дому. Как жаль, что у меня нет собаки – она бы меня встречала звонким, радостным лаем. Она бы мне радовалась даже пьяной, хотя, я знаю, собаки пьяных не любят.

«Хорошо бы собаку купить». Какая хорошая строчка! Всегда мне нравилась.

Собака бы меня поняла. Во всяком случае, лучше этого таксиста. Если бы у меня была собака, мне не пришлось бы по барам таскаться – я бы ей все рассказывала.

Если бы у нас была собака, Максим бы не умер. Она просто не дала бы ему выброситься из окна. Вцепилась бы зубами в штаны и ни за что не отпустила...

У нас никогда не было собаки. У нас и ребенка никогда не было.

Макс вот здесь лежал. А женщина, которая так страшно кричала, стояла возле скамейки, на которой сейчас сижу я. Наверное, она тоже на ней сидела. Думала о чем-нибудь хорошем – и тут тело из окна летит...

Она так кричала, так ужасно кричала!

Надо бы мне все же идти домой. В мой дом без собаки, без ребенка, без мужа.

Я не знаю, кто вызвал тогда «Скорую». Может быть, та женщина, которая кричала. Наверное, она живет в нашем доме, раз сидела на нашей скамейке в нашем дворе. Был непоздний вечер семнадцатого сентября – или восемнадцатого? – я никогда точно не помнила дату нашей свадьбы, а теперь буду путать дату смерти Макса. Похоронами не я занималась – все это время я была под опекой Марины. Откуда мне было знать, что сестра моя – главный мой враг?

В лифте так накурено. Странно, кто мог прокурить лифт среди ночи? Тем более что, пока я сидела на скамейке, никто не выходил из подъезда.

Ну и черт, ну и ладно. Вот наконец моя дверь. Куда подевались ключи? Дурацкая сумка, надо купить другую. И собаку. И... подкупить персонал...

Я поняла! Я наконец поняла, в чем заключается суть моего пьянства! В ожидании. В ожидании смерти. В ожидании сообщения о смерти. Марина, несомненно, умерла. Конечно, умерла! Не могла она не умереть! Ее смерть – это просто логично. Она это и сама понимала, раз рассказала о них с Максом. Ее рассказ – предсмертная исповедь, вот что это такое.

Зачем я телефон все время, целых шесть дней, держала выключенным? Мне, наверное, не раз звонили, чтобы сообщить. Выключила, потому что боялась услышать? Да ведь я же хочу услышать! Хочу, чтобы она умерла.

Ребенка мне, разумеется, отдадут. В крайнем случае придется подкупить персонал. Да нет, отдадут и так.

Завтра же позвоню в больницу! Жаль, что нельзя сегодня.

Мама возражать не станет: ей ребенок ни к чему, у нее уже есть ребенок – обожаемый муж-мусипусик. Терпеть его не могу! А впрочем, теперь мне на руку, что он имеет место быть. И мамино отношение к нему тоже на руку.

Да вот же они, ключи, я не там искала. С координацией движений полная ерунда: ключ никак не попадает в скважину. Все, пора завязывать с пьянством. Тем более что больше в нем нет никакой необходимости: завтра позвоню в больницу – ребенка мне отдадут, дай бог, чтобы он-то был жив. Он должен быть жив, иначе все не имеет смысла!

Какого черта я закрыла дверь на два замка? Как я утром выходила из дому, совершенно не помню. Кажется, я собиралась к Марине. Нет, не собиралась, иначе бы я сначала позвонила, а я точно помню, что не звонила ей все эти дни. Да и чего звонить?

Как чего? Понятно чего: узнать, что она умерла. Позвонить и не дозвониться, забеспокоиться, связаться с больницей и услышать: ваша сестра... А затем подкупить персонал и забрать ребенка. Вот что надо было сделать!

Слава богу, дверь открылась. Думала, ночевать под порогом собственной квартиры придется, на коврик. Утром соседи увидели бы, и репутация моя была бы подмочена. А мне теперь нельзя терять репутацию – мне нужно усыновить ребенка умершей в родах сестры.

Так, теперь принять душ и спать – с утра много дел, надо быть бодрой и свежей. Не помню, есть ли у меня чистая блузка? Плохо, если нет. Ладно, завтра что-нибудь придумаю, со стиральной машиной мне сейчас не справиться. Очень хочется спать. Да черт с ним, и с душем!

Моя одинокая постель – бывшее брачное ложе – уже тем хороша, что больше не пахнет изменой. А ведь пахла, пахла! Почти целый год в прямом смысле слова пахла: чужими духами. Только я так и не поняла, что это духи моей сестры. Как это было ужасно! Я просто задышалась. Но ни о чем не спрашивала: я так боялась услышать... Не хотела я слышать никаких признаний! Я, наверное, еще год согласна была бы так жить, только бы не услышать. Совершенно ненормальная женщина, подобных идиоток больше не существует в природе, я одна в своем

роде. Любая бы на моем месте с самого начала, как только стала подозревать мужа в измене, устроила бы скандал. А я молчала и боялась, что Макс сам заговорит. Возможно, если бы я поступила, как нормальная женщина, ничего бы не произошло: Макс открыл бы мне свой план, и мы вдвоем решили, что делать. Как знать, может, я и согласилась бы с ним – я ведь тоже безумно хотела ребенка. Или бы не согласилась, и тогда бы он все отменил. Или не отменил, и мы бы с ним развелись...

Не знаю, что для меня страшнее: развод или смерть Макса. Пожалуй, развод был бы тяжелее.

Значит, все правильно.

Спать.

Нет, все же смерть тяжелее.

Глава 2

Наталья (продолжение)

Самое мучительное в моем состоянии – пробуждение. Оно делится на две одинаково непереносимо болезненные стадии: пробуждение от сна и возврат к воспоминаниям.

Каждый мой сон кончается кошмаром. Собственно, кошмар является предвестником пробуждения – мой отравленный алкоголем мозг больше не выдерживает. Страшно болит голова, тошнит так, будто я всю ночь каталась на чертовом колесе, все тело словно избито. Я долго лежу, не решаясь открыть глаза, а потом так же долго собираюсь с силами, чтобы встать, выпить таблетку, сварить кофе, принять душ – вернуть похмельное тело к жизни. Но как только тело становится жизнеспособным, накатывают воспоминания, и тогда я снова отправляюсь в бар, потому что вынести их не в состоянии.

Никогда раньше ничего подобного со мной не было. И быть не могло! О том, что алкоголь – единственно возможный анальгетик для больной моей души, я узнала в тот день, когда вызвала «Скорую» для своей сестры. Ну, в общем, в тот самый день. Странно, что не раньше. Например, на поминках. Или сразу после того, как уехала синяя машина с мертвым Максовым телом. Или после второго разговора с милицией – был момент, когда они усомнились в самоубийстве, а усомнившись, начали подозревать меня. Потом все обошлось.

Марина тоже почему-то в самоубийство не поверила. Что там она говорила в тот день, когда... когда я «Скорую» вызвала? Что Макс это... не сам? Произошла странная, страшная вещь... «Этим уже занимаются...» Что она имела в виду? Кто занимается? Милиция? Зря тратит время – я же была в соседней комнате, когда все произошло. Или сестра тоже меня подозревает? Что ж, вполне логично, я бы на ее месте тоже подозревала.

Да я и на своем месте временами подозреваю... сестру, хоть это совсем не логично: я ведь была в соседней комнате, и к тому же пока в состоянии понять, не весь мозг пропила, что Марине смерть Макса несколько не выгодна.

Получается, я тоже не до конца верю в самоубийство?

Да нет, верю. Просто мне было бы легче, если бы «он не сам». «Сам» – значит, в чем-то я, а я не хочу быть убийцей Макса.

А убийцей сестры?

Да я ведь не собиралась ее убивать, я просто хотела...

Когда я хотела? Вчера я что-то такое говорила...

Сегодняшнее пробуждение особенно тяжелое: голова болит сильнее обычного, а еще... В воспоминания закралась какая-то ошибка. Вчера...

Надо восстановить вчерашний день. А я никак не могу восстановить вчерашний день! Каждое утро я сбегала от воспоминаний в бар, но сегодня знаю: бежать нельзя.

С утра я собиралась позвонить в больницу – с вечера решила позвонить. С позавчерашнего вечера. Но вчера, когда пробудилась и после таблетки, кофе и душа вернулась в воспоминания, звонить никуда не стала, напрямик отправилась в близлежащий бар. Я испугалась услышать о смерти сестры. Я вдруг так захотела, чтобы она умерла... Я боялась – хотела, хотела – боялась и надралась вусмерть за каких-нибудь два часа.

Что было дальше?

Проснулась сегодня утром с дикой головной болью у себя дома, на нерасправленной кровати, в одежде, даже в туфлях – со мной такого ни разу за семь дней пьянства и безобразий не бывало. Как попала домой, совершенно не помню.

Так, так... напилась и проснулась. А что было между? Напилась-то я днем, часам к трем дошла до кондиции, но был ведь еще и вечер. Как я провела вчерашний вечер? Позавчерашний

помню прекрасно: заблудилась в парке, долго искала выход, вернулась в бар, приехала домой на такси. А вот вчерашний вечер начисто стерся из памяти.

Надо начать все сначала. Я обязательно должна вспомнить!

Итак, утром я проснулась и, как обычно, справившись с похмельем, собиралась позвонить в больницу, потому что решила так с вечера. Но в больницу не позвонила, бросилась очертя голову в бар. И напилась... А потом оказалась дома. Круг замкнулся.

Вспомнила! В баре я познакомилась с молодым человеком. Кажется, это был не официант. Что-то такое я ему говорила... Я говорила долго и много – душевный такой парнишка попался. Говорила и пила, пила и говорила. Он еще мне сказал, что напитки мешать не стоит, и я все время пила «Арагат».

Затем мы куда-то поехали. Точно! Мы ехали в машине – наверное, это было такси. Куда мы поехали – к нему? Ко мне? Я и в машине все говорила. Пила и говорила... Я пила коньяк из бутылки – вероятно, в баре мы купили бутылку и взяли с собой. А потом...

Я не помню, что было потом. Я совершенно не могу вспомнить, что было потом! Может быть, мы приехали ко мне, я допила бутылку и уснула, а он ушел?

Мне нужно вспомнить, мне обязательно нужно вспомнить! Я должна, я обязана вспомнить!

Нет, мы не ко мне поехали, а в какое-то другое место. В какое другое?

Ну, если не ко мне, то, значит, к нему. Кстати, как его зовут? Совершенно не помню. А как я оказалась дома, если мы к нему поехали? И зачем я дома оказалась, ведь, раз мы поехали к нему, значит, предполагалось, что мы там и останемся? Может, мы поссорились? Поссорились, я вызвала такси и уехала? Почему-то я этого совершенно не помню...

Боже мой, как же у меня сегодня болит голова! Пора завязывать с пьянством. Но сначала нужно встать, выпить таблетку... Ну, и так далее по списку.

До чего я докатилась: подцепила в баре мужика, возможно, провела с ним ночь и даже этого не помню!

Ладно, все, хватит терзаться. Можно считать, завязала. Больше в бар – ни ногой. Приведу сейчас себя в порядок и позвоню Марине – ее, конечно, уже давно выписали, и она дома. Может, и малыша выписали. Хотя малыша вряд ли – семимесячных держат долго, в специальных камерах.

Я поднялась. С большим трудом, только с третьей попытки мне это удалось. Приковыляла к зеркалу, чтобы посильнее наказать себя: я предполагала, как выгляжу. Но то, что в нем отразилось, превзошло все мои ожидания: лицо опухло почти до неузнаваемости, волосы сбились в невообразимую копну, брюки и блузка были грязными, в каких-то подозрительных бурых пятнах. Такое ощущение, что я ночевала не у себя на кровати, а под чьим-то забором.

Я с отвращением сбросила одежду и пошла в ванную. Пустила воду, вылила полбутылки геля. Душ мне сейчас не поможет, такое безобразие смывать нужно долго, большим количеством воды и мыла.

Ванна подействовала на меня благотворно: голове стало полегче, тошнота почти прошла. Я собрала грязную одежду и бросила ее в стиральную машину. Пиджак от костюма куда-то запропастился. Неужели я его оставила у вчерашнего парня? Жалко, если так. Хороший был костюм, а главное – любимый. Пиджак теперь не найти, я совершенно не помню, где живет мой вчерашний случайный знакомый. Да что там, где живет, – я и имени-то его не помню! Допилась, ничего не скажешь... Интересно, у нас было что-то? Я дула, как лошадь, коньяк и рассказывала о своей несчастной жизни. Но ведь не для этого же он привез меня к себе. Я-то, конечно, поехала для этого, но ему-то уж точно нужно было что-то другое...

Впрочем, если принять во внимание то, что отразилось сегодня в зеркале, ничего другого ему от меня и не нужно было. Если он не извращенец. Хотя кто его знает, может, и извращенец. Мазохист.

А пиджак все-таки жаль. Ну да ладно, все могло закончиться куда печальней. Вот, например, попала бы я сдуру да спьяну в лапы к маньяку. Или угодила бы под машину. Или загремела в вытрезвитель – вот был бы позор. А так можно считать, что отделалась малой кровью – потерей любимой тужурки.

Выпив кофе и окончательно протрезвев, я набрала телефон Марины – сначала домашний, потом мобильный. Сестра отозваться не пожелала. Тогда я позвонила в больницу. Мне сказали, что Марину выписали еще позавчера, малыш чувствует себя для своего положения вполне удовлетворительно, но пока остается в роддоме. Тогда я снова набрала оба номера сестры – ни ответа ни привета. Все ясно: она решила прошвырнуться по магазинам после больничного заключения, а мобильный взять забыла.

На всякий случай включив свой мобильник – вдруг Маришка мне позвонит и окажется, что она где-нибудь на подходе к моему дому, – я стала собираться к ней.

Поехать я решила на своей машине, чтобы пресечь все пути к отступлению: никаких баров, следуем строго по курсу. Что бы ни пришло в голову в следующий момент, какие бы воспоминания ни накатили, какие бы чувства ни охватили – вперед, только вперед, с малодушием покончено!

В машине меня неожиданно укачало. Мне стало так дурно, прямо-таки какая-то токсикозная дурнота накатила! Не будь я уверена, что это совершенно невозможно, возрадовалась бы, что беременна. Пришлось выйти, плотненько дышать воздухом, отдышаться. Да уж, недельное пьянство сказывается на организме не самым лучшим образом. Опять ужасно заболела голова. Почти как утром, когда я проснулась. Зря все-таки решила добираться своим ходом: благие намерения – это, конечно, похвально, но, по-моему, до сестры мне просто не доехать. Вернуться? Впрочем, мне теперь и до дому не доехать – я как раз на середине пути.

Немного отдышавшись, я снова села в свою тошную машину.

До дому сестры я все же добралась. И была ужасно горда собой, когда заруливала в ее двор. А когда поднималась в лифте, поняла, что ужасно соскучилась – мы не виделись целую неделю – и что обида совсем пропала. А еще я подумала: ребенок, свой, родной, собственный, пусть даже один на двоих с сестрой, – это ведь так здорово! И до невыносимой боли мне стало жалко Макса.

Я позвонила – один раз, так, на всякий случай, чтобы не испугать Маришку своим внезапным появлением, если вдруг она уже вернулась, а затем открыла дверь своим ключом. Вошла, включила свет – и сразу наткнулась на свое сумасшествие: в открытом шкафу на вешалке висел мой пропавший пиджак.

Как же так? Я неделю не была у Марины, как он мог оказаться у нее? Вчера я точно была в нем. Да и позавчера была. И вообще все эти дни не переодевалась.

Может, это не мой пиджак – Марина купила похожий, а я и не знала?

Да нет, он не новый и... мой. Носовой платок в кармане – мой платок. И подкладка внизу чуть распорота – у меня все не доходили руки подшить, и... Да мой это пиджак, мой!

Что же тогда получается? Марина вчера была у меня? Но зачем ей понадобилось забирать мой пиджак? Или, наоборот, я заезжала вчера к ней и его тут оставила? Да не была я у сестры, не была!

Не надо сходить с ума. Вот придет Марина, и все как-нибудь объяснится – просто и естественно.

Стоп, как оно может объясниться просто и естественно?! Я не была у сестры целую неделю, а между тем – пиджак здесь. Нет этому никаких объяснений!

Не разуваясь и не снимая плаща – черт его знает почему! – я двинулась в комнату, в ту, что у Маришки гостиная. И снова наткнулась на следы своего недавнего пребывания здесь. Сомневаться больше не приходилось: я вчера была у Марины, мы пили коньяк, все тот же «Арагат». Вон бутылка стоит на столе, на дне еще что-то виднеется, можно взять и опохме-

литься, и я, наверное, так и поступлю, чтобы не свихнуться окончательно (мое утреннее решение не в счет, я ведь не знала, как будут разворачиваться события). Мы пили вдвоем – на столе только два бокала. Я сидела вот здесь, если судить по апельсиновым коркам, а Марина, значит, в том кресле.

«Арарат», апельсин, пиджак... Что еще? Окурки от «Парламента». Мои, конечно, окурки – Марина не курит. И... Боже мой, на полу возле «апельсинового» места – моя зажигалка! Я была здесь без всяких сомнений. И была здесь именно вчера, поскольку позавчерашнее я прекрасно помню. Выпал из памяти только вчерашний вечер. Вот, следовательно, где я его провела. Вовсе не у того парня, с которым познакомилась в баре, а здесь, у Марины.

Минуточку... Но я же помню, как мы с ним ехали в машине (вероятно, в такси), как я пила коньяк и жаловалась на жизнь. Мы что, получается, сюда ехали? Где же тогда третий бокал? Или он только провожал меня? Довез до Маринино дома и ретировался?

Ладно, не суть, важно другое. Чем, интересно, закончился наш сестринский ужин? Я вчера была в таком настроении, что, боюсь, мы могли разругаться в пух и прах. Хотя если бы я ехала выяснять отношения, вряд ли привезла с собой коньяк. И уж точно не подумала бы захватить апельсин (это мой апельсин, у Маринки апельсины сроду не водились). И бычков полная пепельница, значит, мы просидели довольно долго.

Но, наверное, все же разругались, потому что иначе я осталась бы ночевать у сестры, а не поехала домой в том состоянии, в каком, если судить по полному отшибу памяти, вчера пребывала.

Да, конечно, мы разругались. Я вызвала такси и уехала домой. Или Марина вызвала такси и отправила меня домой. Я была столь пьяна, что не смогла не только раздеться, но и разуться.

Кто же тогда погрузил меня на кровать? Кто доволоч до квартиры? Может, таксист? Я не помню, чтобы меня кто-то волок и кто-то грузил. Впрочем, я ведь и как была у Марины, не помню, о чем тут вообще говорить?

Но вот что удивительно: Маринка куда-то умчалась, не сокрыв следы нашего пьянства (прямо скажем, довольно неаппетитные следы). Это Маринка-то, аккуратистка и подпольщица! А вдруг бы мать принесло с утра пораньше, у нее тоже есть ключ от Марининой квартиры. Ей бы такое украшение стола совсем не понравилось, хватило бы на год пищи для разговоров, чтобы Маришку пилить за несправедный образ жизни. Я и то всю свою запойную неделю старалась не пересекать границ обитания нашей матушки, чтобы на глаза ей невзначай не попасть. Ей, конечно, давно уже до нас нет никакого дела, но возможностью капать на мозги не преминет воспользоваться.

Надо бы поскорее все здесь привести в порядок. Маришка, наверное, почувствовала себя плохо – тут я ее понимаю, о, еще как понимаю! – потому и решила отложить уборку. Хотя... если ей было так плохо, куда же тогда она отправилась? Поход по магазинам тем более можно было отложить.

Может, она в больницу пошла, навещать ребенка? Да, скорее всего.

Я вылила остатки коньяка в свой бокал – получилось всего ничего – и выпила. Посидела немного, прислушиваясь к своим ощущениям – нормальные ощущения. Потом покурила и начала убирать: вымыла бокалы и поставила в шкаф, вытряхнула и ополоснула пепельницу, выбросила бутылку, а потом, немного подумав, и мусор вынесла, чтобы уж никаких следов. Когда стояла возле мусоропровода, приехал лифт. Я подумала было, что Маринка вернулась, но это, оказалось, какая-то незнакомая женщина, она направилась к квартире напротив. Почему-то я на нее рассердилась. И на Маринку тоже рассердилась – за то, что она где-то бродит, а мне приходится скрывать следы преступления и ломать голову над тем, как я очутилась вчера у нее и чем закончился наш совместный вечер.

Вернувшись в квартиру, я снова набрала номер ее мобильного. Тот мобильник отозвался знакомой песней «Битлов» из спальни – ну, так и есть, она забыла, растяпа, телефон дома. Где, интересно, – на тумбочке? под кроватью?

От нечего делать я пошла в спальню проверить. Толкнула дверь, шагнула – и... удивилась. До глубины души удивилась. И возмутилась, тоже до глубины души, и закричала, прижав ладонь ко рту, как тогда Марина.

Она сидела на полу, скорчившись – как тогда, как тогда! Я подумала, что это игра, и возмутилась: опять игра. Но тут же поняла, что это совсем не игра. Потому что нежно-голубой ее спортивно-домашний костюм спереди весь стал буро-коричневым. И пятна на моей блузке, которую я бросила утром в стирку, тоже были буро-коричневые. Какая уж тут игра!

Я кричала в ладонь – я пока еще могла кричать в ладонь, потому что, несмотря на такие же точно пятна на блузке, не поняла **всего**, не поняла до **конца**, полная картина кошмара пока передо мной не предстала, не осозналась. Предстал только факт: Марина мертва, и осозналось его объяснение: послеродовое кровотечение или что-нибудь в таком роде из области гинекологии. А потом я вдруг поняла, что виновата в смерти сестры: напоила ее коньяком и оставила без присмотра. Я изо всех сил не захотела принимать на себя такую вину, изо всех сил захотела поверить, что она еще жива и ее можно спасти, нужно только не стоять, не кричать, а срочно принять меры к ее спасению.

Я подошла к Марине, опустилась на корточки, дотронулась до ее щеки – и все равно не потеряла надежды: холодная – потому что много крови потеряла. Это ничего, у нас с ней одна группа... Попыталась нащупать пульс – не нашла, но надежды не потеряла – я не врач, не специалист, и у себя-то трудно сразу нащупать пульс... Обхватила Марину руками, чтобы положить на кровать, приподняла, потянула – и увидела дыры на костюме, длинные, узкие прорези... И еще несколько секунд не понимала и на что-то надеялась.

Но секунды, эти последние в моей жизни благие секунды, прошли. Я все поняла. Пиджак, коньяк, апельсин... Я все поняла. И зачем-то стала искать в спальне нож. Я поняла, что убила сестру ножом. Вероятно, тем, с белой ручкой под слоновью кость. «Под слоновью», как говорила Марина.

Я поняла... А потом поняла окончательно.

* * *

Толчок, удар. Что-то врезалось в мой бампер. Останавливаться я не буду – они станут страшно кричать.

Вина, конечно, моя – я вообще плохой водитель... Я не вызвала «Скорую». Я и милицию тоже не вызвала. Просто вышла из квартиры, закрыла дверь...

Свистят? Или мне показалось? Останавливаться в любом случае не буду!

Я не вызвала «Скорую», не позвонила в милицию. Все, что я сделала, – это сняла с вешалки пиджак, затолкала его в сумку и ушла. И закрыла дверь. На ключ закрыла.

Сбежала. Убила сестру и сбежала. Вчера вечером убила, а сегодня сбежала.

Опять светофор. Лучше правил не нарушать – гаишников мне не выдержать. И криков пострадавших водителей тоже не выдержать. Я хочу домой! Боже мой, как я хочу домой! Я убила сестру – вот, оказывается, как я вчера провела свой вечер.

Зеленый, наконец-то можно ехать. Теперь я не знаю, как жить. Я потому и забыла вчерашний вечер.

Надо свернуть в нижний центр, там движение меньше.

Бурые пятна... Мне нравился нежно-голубой костюм, он Маришке очень шел... Это, конечно, тот нож. Почему я его не нашла?

Зачем я его искала?

Зачем я пиджак унесла?

Как я хочу домой! Здесь свернуть нельзя, знак поставили, а раньше его точно не было.

Я ведь не потому сбежала, что испугалась обвинения...

Потому. Пиджак унесла, значит, потому. И в милицию не позвонила, и в «Скорую».
Потому, потому, потому!

В любом случае, сбежать было бессмысленно – меня видела та женщина, которая из лифта вместо Марины вышла.

Она не соседка, соседок я знаю. Меня она вряд ли запомнила. И в той квартире, что напротив, она не живет. Просто пришла в гости или из какой-нибудь организации. Тогда на нее, скорее всего, не выйдут.

Я вот что скажу, когда из милиции явятся: у сестры не была неделю, у меня умер муж, была в плохом состоянии.

Что же я делаю? Господи, что же я делаю? Я придумываю, как избежать обвинения.

Так я и знала! Потому и пиджак забрала. Убила сестру, сбежала, а теперь придумываю...

Что это? Телефон звонит! Не брать! Чей это номер? Я такого не знаю. Может, уже милиция?

– Да, я слушаю.

Какая ужасная связь! Что за женщина звонит? Голос пьяный, невнятный, да еще сплошные помехи...

– Вас плохо слышно, перезвоните!

Не реагирует. Наверное, она в таком же состоянии, как я была вчера. Пьяная женщина – это ужасно, омерзительно. Да что она там говорит?

– Никогда не прощу! Я убью, убью ее все равно, эту суку... Я убью, я убью! А ребенка мне отдадут обязательно. Ребенок – мой. Мой по праву!

Да ведь... это же я, мой голос. Это я говорила вчера. Но как же... Как же такое возможно?..

Голос, мой голос, ушел из трубки. И помехи ушли.

– Слышала? – Мужской голос, молодой и трезвый, возник вместо него. – Это запись, как ты должна была догадаться. Я вчерашний твой рассказ с последующими комментариями, как видишь, записал.

– Кто вы? О господи...

– Вчерашний твой исповедник. Так вот, я не только пьяный бред твой записал, я все видел. Все, понимаешь? Я знаю, что ты убила свою сестру, и могу это доказать.

Глава 3

Дина

Папа пишет диссертацию, мама лежит в больнице, а бабушка умерла. Мы с Димкой предоставлены сами себе, некому больше нами заниматься. Хорошо это или плохо? Я пока не разобралась.

Бабушка умерла пятого мая. Утром, как обычно, накормила нас завтраком, проводила в школу, а когда мы вернулись домой, она была уже мертвой.

Мне кажется, я даже точно знаю время, когда это случилось, – в одиннадцать часов. В то утро, когда она в последний раз готовила нам завтрак, я вдруг почувствовала: бабушка сегодня умрет. Так и случилось. Я потом рассказала об этом Димке и пыталась объяснить, что во всем виновата, ведь, если я знала еще утром, не надо было идти в школу, мы должны были остаться и спасти бабушку. Но Димка не понял или не поверил, а может быть, хотел меня утешить. Он посмотрел на меня тем взглядом, каким всегда бабушка смотрела, и сказал, что я все выдумываю, ничего знать заранее я не могла, всякие предчувствия – чушь собачья, никто не может предвидеть смерть, если она случается вот так внезапно.

Никакая не чушь! Я-то предвидела. Нет, не предвидела, а просто тогда что-то такое почувствовала. От бабушки, когда она пришла нас будить, пахло тревожно и странно. Похоже пахнет раствор соли с йодом. Но только в бабушкином запахе было что-то еще, третье. Я, пока еще ни о чем не догадываясь, спросила: «Ты что, полоскала горло? У тебя ангина?» А она пожала плечами и ответила: «Нет». Я ей не поверила и заглянула в аптечку – йода там не оказалось. Тогда я подумала: может, она переставила его в какое-нибудь другое место, или он кончился. Но ни на полке в ванной, ни в шкафу на кухне я его не нашла. И в мусорном ведре не оказалось пустой бутылочки из-под йода. Значит, она действительно не полоскала горло. Не полоскала, а им пахло.

Я поняла, что бабушка сегодня умрет, когда она готовила нам завтрак. А потом мы вернулись из школы...

Было жарко, мы шли домой вдвоем, как обычно. Димка затащил меня в магазин и купил на обед большую пиццу, мороженое и пакет фруктового кефира для бабушки. А я ему хотела сказать, что не надо, что бабушка умерла и что я знала об этом еще утром. Но не сказала. Потому что подумала: а вдруг я ошиблась, и как бы было хорошо, если правда ошиблась. И еще потому, что не хотела заранее расстраивать Димку. Ведь если бабушка действительно... Нам нельзя без бабушки! Без бабушки нам никак!

С нами всегда была бабушка. Мама все больше лежала в больнице – даже с папой они познакомились именно там, когда он проходил практику. А папа... По-моему, временами он про нас вообще забывал: он постоянно работал – в своем институте или, когда приходил домой, в своем кабинете. А бабушка всегда была с нами. У нее не возникало, как у мамы, депрессии или, как у папы, неожиданной работы. С ней не приключались внезапные вспышки ярости, как у мамы, и не появилось срочной необходимости присутствовать на ученом совете, как у папы. Бабушка жила только для нас и нами. И потому я ничего не сказала Димке, когда он встал в очередь в молочный отдел.

Мы шли домой. Мы приближались к нашему дому, а я все думала, как бы продлить это возвращение, когда Димка еще ничего не знает. И наконец придумала: мороженое! Ну, конечно, нужно сесть на скамейку и поесть мороженого. Я стала спрашивать Димку, а он отказался, сказал, что вот придем домой и поедем все вместе. Глупый! Какой же он глупый! Он не понимает, что когда мы придем, нам будет совсем не до мороженого, и что вообще нам нельзя

торопиться возвращаться домой. Мы шли, а я ныла и ныла, потому что ничего другого, кроме идеи с мороженым, мне не приходило в голову.

И вот мы пришли. Я задержалась в коридоре, не побежала, как обычно, в комнату с криком: «Ба! Мы пришли!» Потому что знала: кричать некому. А Димка побежал и закричал.

Вернулся он очень быстро. Так быстро, что я на несколько секунд поверила: все у нас хорошо, то, утреннее, мне почудилось. Бабушка просто куда-то ушла и оставила нам записку: «Обед на плите. Разогревайте и ешьте. Скоро приду». Такое уже было, несколько раз. Может, и сегодня...

Я сильно, до боли, до рези в глазах, зажмурилась и представила, как Димка читает записку, озабоченно хмурится... Вот сейчас открою глаза и увижу, что все так и есть...

Димка схватил меня за плечо – так грубо и больно, как будто мы дрались, – и вытолкнул, почти вышвырнул из квартиры. И крикнул не своим, каким-то очень высоким голосом: «Я сейчас! Подожди меня во дворе». И захлопнул дверь прямо перед моим носом.

Я не пошла вниз, во двор, я прижалась к двери – мне обязательно нужно было узнать, что он там делает. А Димка звонил по телефону – сначала папе: «Папа, приезжай скорее! Бабушка умерла!», а потом через минуту маме: «Мама, приезжай скорее! Бабушка умерла!» Он прокричал, простонал высоким голосом одинаковые фразы и пропал. Трубка стукнулась о рычажки, и все, больше до меня не доносилось ни звука. Я все прижималась и прижималась к двери, пытаюсь услышать хоть что-нибудь: пусть крик, пусть плач, только звук, какой-нибудь звук, Димкин звук... Но не услышала. Словно и Димка умер.

Резкий удар отбросил меня к стене – Димка с размаху открыл дверь. В полете я успела подумать: как это он так неслышно приблизился? Он схватил меня за руку и потащил вниз.

– Сейчас мама с папой приедут, – проговорил на ходу, не глядя на меня, таким тоном, будто приезд родителей в три часа дня – дело совершенно обычное. – Мы их во дворе подождем, ты ведь хотела мороженого. Я с собой его взял. Погода хорошая.

– А что там? – Я вырвала руку между третьим и вторым этажами. – Что там, Димка? – Я очень хотела, чтобы он меня успокоил, мол, там ничего, просто записка, бабушка ушла в магазин, скоро придет, а погода хорошая, вот мы и посидим, подождем ее на скамейке. – Почему мама с папой приедут? Откуда ты знаешь, что они сейчас приедут? Ты им позвонил? Позвонил, потому что... – Я очень хотела, чтобы он мне сказал, что никуда не звонил и никакого «потому что» нет, а я просто дура, выдумала невесть что. Я очень хотела услышать это между вторым и первым этажами. А потом на первом. А потом во дворе. Но Димка ничего не сказал. Вообще ничего.

Молча мы спустились вниз, молча сели на скамейку. Димка сунул мне в руки мороженое и стал смотреть на дверь нашего подъезда. Непонятно, почему не на дорожку, по которой должны были прийти родители.

Мы долго так сидели и молчали. Я ела мороженое, совершенно не ощущая вкуса, – откусывала, жевала и глотала, чтобы оправдать наше молчание. Мы всегда разговаривали, даже когда ссорились, а тут...

На середине мороженого я не выдержала и заговорила. С полным ртом, не проглотив холодной безвкусной массы. Нет, не так: я специально набрала побольше мороженого в рот, перед тем как заговорить, чтобы вышло невнятно. Я спросила:

– Она умерла? – И только потом проглотила.

Димка дернулся, повернулся ко мне, вырвал мороженое, швырнул его в кусты и опять отвернулся.

– Она умерла? Димка! – Я вцепилась в его плечо и затрясла. – Она ведь умерла? Ну, скажи, она умерла? – Я трясла и трясла его за плечо – голова брата безвольно болталась. Он и не подумал вырываться. Сидел, как кукла, как неживой, как щенок, которого взяли за шкуру. – Димка, она...

– Да.

Я отпустила его. Зачем я спрашивала? И так все было понятно. Я ведь слышала, как он звонил по телефону, я слышала, **что** он говорил.

Я прижалась к Димке, а он ко мне. Так мы и сидели, пока не увидели отца. Он выскочил из такси и пронесся мимо, не заметив нас. С совершенно безумными глазами и перекошенным лицом. Я первый раз в жизни видела его таким.

Мы поднялись со скамейки и пошли следом за ним.

Мамы мы так и не дождались, она не приехала. Прямо с работы, вскоре после Димкиного звонка, ее увезли в больницу.

С тех пор прошел год. Снова жарко и скоро каникулы. Мы возвращаемся из школы в пустую квартиру, потому что папы никогда нет – он пишет диссертацию, мама лежит в больнице, а бабушка умерла. Иногда нам становится страшно, но чаще никак. Мы начинаем привыкать к своей беспризорности и, кажется, даже входим во вкус: с некоторых пор за нами приглядывает смерть, как когда-то бабушка.

* * *

Однажды я подслушала разговор. Папа с дядей Толей, его другом и психиатром той больницы, в которой лежит мама, пили на кухне коньяк и потому разговаривали довольно громко.

– Ты понимаешь, Толя, это бессмысленно. У нее и раньше бывала депрессия, но никогда это не длилось так долго. Надеяться больше не на что.

– Надеяться всегда нужно.

– Да что ты! Она никого уже не узнает. Она меня и то не узнает. О чем тут еще говорить?

– Детей узнает. С Динкой они вполне находят общий язык.

– Не знаю, не знаю! Я вообще уже ничего не знаю. Что делать, не знаю.

– Но развод... Боря, я тебя очень хорошо понимаю, жить с сумасшедшей тяжело и... Вас, конечно, безоговорочно разведут, но... Что ты детям скажешь, как ты им объяснишь?

– Детям так будет лучше. Она не поддается лечению, сам видишь. Что будет дальше? Год, два, от силы три – и она превратится в овощ. Сейчас Дине десять, Диме тринадцать. Пока не поздно, я должен оградить детей от сумасшедшей матери.

– Да что ж ограждать? Мила в больнице.

– Все равно! Ты не понимаешь...

Дальше я слушать не стала. Мне и так все теперь было ясно: отец наш – сволочь из сволочей, а мама – неизлечимая сумасшедшая. У меня есть только Димка. Вернее, у нас двоих есть только мы.

Я побежала в нашу комнату, забралась к Димке под одеяло (он уже спал) и крепко-крепко прижалась к нему.

Бабушка умерла, папа – сволочь, мама никогда не выйдет из больницы. Не поддается лечению. Год, два, три... Никого не узнает, ничего не помнит...

Неправда! Меня она узнает и помнит о бабушке. Плачет о бабушке. Разве сумасшедшие могут плакать о ком-нибудь?

Наверное, могут. Мама – сумасшедшая. Год, два, три – она и меня не узнает.

* * *

Она никогда ничего не спрашивает о папе. Ничего и никогда. Мы разговариваем обо всем: о Димке, о школе, о фильме, который стоит мне посмотреть, о книге, которую я сейчас читаю, о том, что я ела на обед. Даже о глупом, впадшем в маразм, старом соседском шпиге

Кирюше. Мы разговариваем обо всем и обо всех. Кроме отца. Словно его больше не существует. Мама просто вычеркнула его из своей жизни. А виновата я.

Зачем я это сделала? Не знаю. Втайне от всех, втайне даже от Димки (то есть все равно, что втайне от самой себя), я передала маме тот разговор папы с дядей Толей. И даже больше: я его раскрасила, внесла новые детали. Например, зачем-то сказала, что отец собирается увезти нас с Димкой в другой город, причем очень скоро.

– Нужно успеть к первому сентября, так он сказал, – врала я, – чтобы детей не срывать посреди учебного года.

– А что дядя Толя?

– Он согласился, – зачем-то решила я очернить и дядю Толю.

– Что еще отец говорил?

– Он сказал: год или два – и она превратится в овощ, перестанет быть человеком.

Услышав последнюю фразу, мама вдруг страшно побледнела, а потом пошла красными пятнами, отвернулась и долго сидела молча. И тут только я поняла, что наделала, и испугалась, и стала уверять маму, что я все выдумала, что ничего такого на самом деле отец не говорил, что именно сейчас я говорю правду.

– Динка! – Мама наконец повернулась ко мне и заговорила бодрым тоном – усиленно бодрым, из последних сил бодрым. – Ты мне столько бананов принесла – жуть! Давай ешь сама, мне с таким количеством не справиться.

Я оторвала от связки один банан, покрутила его в руке, положила на скамейку рядом с остальными.

– Ешь, ешь! – воскликнула мама. – Я пока покурю. Что-то у меня голова разболелась.

Я снова взяла банан, почистила и стала есть. Как год назад, на скамейке у нас во дворе, мороженое, не чувствуя вкуса. Мама курила, я жевала банан – мы обе молчали.

С тех пор прошел месяц. Я теперь два раза в неделю езжу к маме в больницу. Тайком от всех, даже от Димки. Вместе с ним, а иногда и с папой, мы приезжаем только по воскресеньям. Я не предупреждала маму, что прихожу к ней тайно, но она как-то сама поняла и ни разу меня не выдала. Воскресные поездки я не люблю: в воскресенье мама – не мама, а самая настоящая сумасшедшая, именно такая, как говорил отец про нее на кухне дяде Толе. Папу она не узнает, а нас с Димкой как будто с трудом, на вопросы отвечает односложно и ни о чем не рассказывает.

Совсем другое дело наши с мамой тайные встречи. Мы ходим по больничному парку и разговариваем. Или сидим на ее любимой скамейке. Раньше мы очень мало общались: у нас с Димкой была бабушка, которой мы все рассказывали, а у нее был папа.

Я ее совсем не знала. Не знала, что голос мамы, такой обволакивающе мягкий, внезапно, за какую-то долю секунды, может измениться и превратиться в иступленно больной визг, а еще через секунду поплыть, заторможенно растягиваясь, как звук в магнитофоне, если пленку зажевало.

Я не знала, что мама трижды пыталась покончить с собой. И что трижды спасал ее папа. Я ничего этого не знала. Потому что, пока жива была бабушка, нас с Димкой ограждали от всего, что могло «пагубно сказаться» на нашей «неокрепшей психике». Это мама мне объяснила. Но бабушка умерла, и ограждать стало некому. И вот теперь я, почти беспрепятственно, могу приезжать в больницу и общаться с мамой.

И все же мне приходится как-то объяснять свои отлучки из дома два раза в неделю. Вот я и придумала, что будто бы записалась в спортивную секцию по баскетболу. Я терпеть не могу баскетбол, да и вообще все игры с мячом. Не знаю, почему придумала именно про баскетбол? Наверное, потому что у нас в эту секцию полкласса записано – угораздило меня оказаться в таком баскетбольном классе.

Против секции никто возражать не стал: Димка давно хотел, чтобы я занялась каким-нибудь спортом, а отцу нет никакого дела, куда я хожу и зачем. Может быть, когда-нибудь

откроется, что ни в какой баскетбол я не играю, но тогда я и буду думать, что делать дальше. А пока срабатывает. И угрызения совести, что я обманываю Димку, меня уже не мучают, мне очень нужны разговоры с мамой именно наедине, а одну он меня никогда бы в больницу не отпустил. Маме тоже они нужны, не меньше, чем мне. Она сама говорила. Мама думает, что из всей нашей семьи только я не считаю ее сумасшедшей, и потому ей со мной легко. Мне тоже с ней легко. Легче даже, чем с Димкой. Легче, чем с самой собой.

О моих посещениях знает, кроме нас с мамой, еще один человек – дядя Толя (не понимаю, зачем я его так перед мамой оговорила!). Он договорился, чтобы маму всегда выпускали со мной в парк. Я думаю, дядя Толя понимает, как нам нужно бывать вместе, радуется, что я приезжаю, и не выдает нас папе.

Больница находится за городом. Ехать далеко: сначала минут сорок на троллейбусе, потом еще на маршрутке. Но и спорткомплекс «Юность», где я якобы отрабатываю приемы забрасывания мяча в кольцо, тоже не далеко, и тренировка, я узнавала, длится два часа, так что по времени все выходит. Я приезжаю, захожу за мамой, и мы идем в парк. Обычно первые десять минут мама напряжена, странно на меня смотрит, отводит глаза, может внезапно схватить за руку и притянуть к себе, может, наоборот, оттолкнуть, словно не понимает или не верит, что это я. Каждый раз я пугаюсь, что сегодня она меня не узнает совсем, так до конца свидания и не поймет, что рядом я, ее Дина. И замкнется навсегда в скорлупе своей болезни, отвернется и будет цедить слова, словно через силу, отвечать односложно: да, нет, спасибо, хорошо. Я знаю, что однажды так и произойдет, и произойдет очень скоро. Мама не понимает одной вещи: я тоже считаю ее сумасшедшей. Как папа, как Димка, как ее врач и друг отца дядя Толя. Я знаю, что очень скоро она останется совсем одна. Без меня, без наших прогулок, без наших разговоров. И потому спешу.

Может, сказать дома, что занятия в секции теперь три раза в неделю?

Я спешу наговориться, наобщаться с ней. Спешу дать ей возможность высказать все, что ей так необходимо высказать.

Я очень тороплюсь узнать ее как можно лучше. Я с жадностью впитываю ее воспоминания. Живу ее переживаниями. Боюсь ее страхами. Болею ее болью. Мама ошиблась: я знаю, что она сумасшедшая. И знаю, что очень скоро наступит день, когда она меня не узнает. Скоро, очень скоро все, что останется у меня от нее, – это память. И я хочу навсегда запомнить голос, движения, тепло ее дыхания, ее запах и ее боль.

Мы разговариваем. Нет, не так. Сначала мы разговариваем (после того, как пройдут страшные немые десять минут ее скованности), а потом говорит она, а я слушаю. Слушаю, стараясь не пропустить ни одного звука.

Больше всего ее интересует смерть. Больше всего она рассказывает мне именно о ней. Я слушаю, прикрыв глаза, чтобы ничто не отвлекало, придвинувшись к маме вплотную, ловя каждую интонацию, чтобы ничего не пропало. Да я и не слушаю, я ее рассказы проживаю.

Теперь я знаю о смерти все – я трижды умирала. Я прожила три смерти. И не умерла – каждый раз меня успевал спасти мой муж.

Первый раз это произошло вскоре после рождения моего первого ребенка, Димы. Не очень помню, что явилось толчком, но причина всегда была одна и та же: я хотела умереть. Вода была умиротворяюще теплой, и мне захотелось в ней раствориться. Но предстояла очень сложная и неприятная процедура, я боялась ее и оттягивала момент. Я представляла, как острое железо войдет в мои вены, я, наверное, услышу звук, когда они прорежутся, – и это будет не звон лопнувшей струны, а мокрое хлопанье, как когда режут сырую говяжью печень. И будет очень больно.

Вода манила раствориться. Лезвие, лежащее на краю ванны, пугало. Я хотела раствориться, хотела умереть, но оттягивала момент. Хотела, боялась, хотела. И наконец решилась.

Все оказалось так, как я представляла, только с правой рукой было труднее справиться. Боль быстро прошла, и мне стало хорошо...

Он спас меня. Зачем он меня спас? Еще немного – и все бы закончилось, но он меня спас. Выломал дверь, вытащил из блаженного забытья. Голова моя ударилась о край ванны, я до сих пор ощущаю ту боль в затылке, разбившую блаженство, выкрашившую меня у смерти...

Мама протягивает мне руки. Она хочет, чтобы я потрогала длинные розовые полоски на ее запястьях. Странно, у нее точно такие же шрамы, как у меня. Откуда они у нее? Неужели она тоже... Да нет, это я тоже... Нет, я просто слушала ее рассказ.

Я трогаю гладкие твердые отметины смерти на маминых руках. Раньше, при жизни с бабушкой, я никогда их не замечала. Украдкой трогаю свои запястья и удивляюсь, что там ничего нет, а ведь только что было.

– Он спас меня в тот раз, Диночка. Он всегда меня спасал.

Да, я знаю, он всегда спасал. И тогда, когда произошла та история с таблетками, тоже успел вовремя. Прошло четыре года после первой несостоявшейся смерти, и я предприняла новую попытку. Я подумала, что с таблетками будет надежнее, но вышло ужасно.

Таблеток нашлось всего десять, и я боялась, что их не хватит. Мне бы хватило, как потом оказалось, если бы он не пришел домой раньше. А все так удачно складывалось: мама с детьми уехала в дом отдыха, у Бориса был ученый совет.

Он не пошел на ученый совет, он взял такси и примчался домой. Он второй раз вытащил меня из смерти, проведя через новый круг ада. Он в меня тогда столько воды влил с марганцовкой до приезда «Скорой», чтобы вызвать рвоту... Голова моя болтается из стороны в сторону, мокрая подушка, скомканное полотенце на полу. Белое его лицо и мое серое, страшное. Я видела свое лицо, но не сверху, я ведь так и не успела умереть, а как будто со стороны, как будто на него смотрел посторонний.

С тех пор у меня болит желудок, я не могу есть кислые фрукты, и меня часто тошнит.

Меня и сейчас тошнит. Отбежать, что ли, подальше, к тем кустам? Боюсь, мама испугается. Посижу немного, подышу глубоко-глубоко, может, пройдет...

– Еда здесь совершенно не подходит моему желудку, – продолжает мама. – Ты не могла бы, Диночка, в следующий раз, когда придешь, принести таблетки? Я тебе потом объясню какие. Я говорила им, что у меня больной желудок и мне нужно... церукал! Обычный церукал! А они не дают.

– Я принесу, обязательно.

– Принеси.

Некоторое время мама сидит молча, задумчиво смотрит куда-то вдаль. Я знаю, что сейчас произойдет: мы с ней попытаемся умереть в третий раз.

Мама достала сигарету, закурила. Зрачки ее на мгновение сузились и снова сделались огромными. Как только сигарета догорит до фильтра, мы приступим к подготовке. На этот раз мы станем готовиться особенно тщательно, постараемся все предусмотреть, любую случайность. Мы выбираем казнь через повешенье. Время исполнения – ночь.

– Понимаешь, Диночка...

Да, понимаю. Мне тоже страшно и тревожно за детей. Особенно за дочку – она совсем маленькая, как бы доза не оказалась для нее слишком большой. Галоперидол пришлось подлить

из ампулы в заварочный чайник, иначе не получалось – мать все время крутилась на кухне, только на минутку и вышла позвать всех ужинать. И глаза слипаются, и голова не так четко работает, и движения неловки и заторможены... И так трудно неслышно выбраться из постели, не потревожив мужа, и пройти в ванную, ничем по дороге не грохнув... Свет включать нельзя, надо на ощупь. Веревка в икафчике за порошками – мы все приготовили с вечера. Привязать к трубе... Как трудно действовать в темноте! Может, на минутку включить свет? Только чтобы привязать, а потом сразу выключить. Нет, придется тогда выходить из ванной, выключатель ведь в прихожей. Лучшие уж так, в темноте...

Мы все предусмотрели, но опять ничего не вышло. Он проснулся и спас. И галоперидол на него не подействовал. Все крепко спали, а он один проснулся. И снова обречен на тоску и ужас.

Он всегда успевал вовремя. Спасал и отправлял в больницу. А теперь хочет оставить нас здесь навсегда.

Нет, я все перепутала – это он маму хочет оставить: развестись с ней и оградить нас с Димкой от ее влияния. Я ни при чем, я только ее навещаю, втайне от всех. А из больницы ей и самой не выйти – мама безнадежно больна, не поддается лечению. Во всем виновата бабушка. Во всем виновата бабушкина смерть. Мама так расстроилась из-за нее, что заболела. Но иногда мне кажется, что она просто завидует бабушке. За то, что ей удалось умереть.

* * *

Сегодня Димка первый раз что-то заподозрил. Пристал, что обязательно заедет за мной в «Юность» к концу тренировки. Я еле от него отделалась.

Сегодня мама в каком-то необычном настроении. С ней явно что-то произошло за те два дня, что я у нее не была. Плохие это перемены или хорошие, я пока не могу разобраться. С одной стороны, она меня сразу узнала, не было обычной мучительной подготовки. Она вышла ко мне, улыбнулась так, как улыбалась обычно только на прощание: ласково и понимая, что улыбается именно мне. И голос ее не плывет и не прерывается. А с другой стороны, какая-то уж слишком она оживленная, и движения ее слишком резкие. Может, ей назначили новое лечение и перемены из-за другого лекарства?

Мы подошли к нашей скамейке. Сели. Мама достала сигареты, закурила. Но тут же вскочила и принялась ходить взад-вперед передо мной по дорожке, размахивая рукой с зажатой в ней сигаретой. Я не выдержала и спросила, хотя никогда не начинала разговор первой:

– Мама, что-то случилось?

Кажется, она обрадовалась моему вопросу. Кажется, она его ждала – именно его, именно такого вопроса.

– Случилось. – Она перестала ходить, присела передо мной на корточки. – Я ждала тебя вчера. До самого позднего вечера все надеялась, что ты придешь.

– Но ведь вчера был четверг. Я никогда по четвергам...

– Четверг? – Она задумалась. Надолго задумалась, и я испугалась, что она опять впадет в свое отрешенное состояние. – Ах, все равно. Я ждала тебя вчера, ты мне так нужна была вчера...

– Хочешь, я и по четвергам буду к тебе приходить? – предложила я, чтобы ее утешить, но тут же подумала, что зря так говорю, ведь Димка уже что-то заподозрил, и я не знаю, как теперь вообще буду организовывать свои поездки.

Кажется, мама не услышала моего вопроса, так задумалась, и я не стала развивать тему.

– Вчера, утром... Уже стало светать, и санитарка начала в коридоре мыть пол – я слышала, как стучается швабра о плинтуса. И я увидела это совершенно отчетливо.

– Что увидела?

– Что? – Мама встрепенулась, посмотрела на меня затуманенным взглядом. Нет, наверное, перемены все же плохие, какая-то новая стадия болезни. – Я увидела свои похороны. Совершенно отчетливо.

– Что ты, мама? Не надо! Ты думаешь... Ты хочешь сказать, что предчувствуешь...

– Да ничего я не предчувствую! Я просто их увидела. И, представь, не во сне – я не спала, я отчетливо слышала, как санитарка моет в коридоре пол, – я их реально увидела. Я на них словно присутствовала. Знаешь, я всегда боялась смерти.

– Боялась? Но как же тогда... Я думала, ты хотела... Что ты умереть хотела.

– Хотела. И боялась. Потому-то все мои попытки проваливались. Потому что он всегда успевал меня спасти. Я сама, неосознанно, конечно, делала все как-то не так, я подсознательно хотела, чтобы меня спасли. Потому что боялась. А теперь... Теперь больше не боюсь, совсем не боюсь.

Мама бросила окурок в урну и села рядом со мной на скамейку – близко-близко, почти вплотную. Я чуть-чуть отодвинулась – мне отчего-то сделалось жутко с ней вот так рядом сидеть.

– Было утро, швабра стучалась о плинтус, мокро чавкала тряпка... – проговорила мама, откинувшись на спинку скамейки и прикрыла глаза. – Из коридора сквозь дверную щель несло хлоркой и лимоном – санитарка в воду всегда добавляет какое-то средство, но этот запах вдруг заглушился другим – свежеструганных досок и ситца. Кровать подо мной сделалась твердой и тесной, и я поняла, что это вовсе не кровать, а гроб. Самое странное, что я не испугалась. Наоборот, мне стало спокойно, только немного неудобно голове оттого, что стружку неравномерно насыпали. Вы, когда станете меня хоронить, проследите за стружкой, под голову надо чуть больше. Я лежала, вдыхала сочный деревянный запах и радовалась, что все у меня наконец получилось. А потом пришли люди, меня подняли вместе с гробом и понесли. Дорогу помню плохо. Нет, совсем не помню, дорога почему-то ушла из памяти как нечто незначительное. Зато хорошо помню все, что было на кладбище. Гроб поставили на какое-то возвышение, по запаху земли я поняла, что рядом вырытая могила, а еще почему-то сразу догадалась, что эта могила – моя. Мне совершенно не было страшно. К гробу по очереди подходили люди. И тут я сделала для себя открытие: я вижу! Да-да, я с закрытыми глазами отлично вижу и узнаю этих людей. Мне было интересно наблюдать за их лицами, любопытно узнать, как они реагируют на мою смерть. Одни сожалели искренне, другим до невозможности надоела вся процедура, и они хотели только одного – поскорее оказаться дома. Третьи...

– А папа?

– Папа? Он испытывал облегчение. Облегчение и больше ничего. Он наклонился, поцеловал меня в губы, прошептал – именно прошептал, хотя говорил не для меня, а для тех, кто стоял рядом! – ничего не значащую фразу, вроде: «Прощай, Милочка, я всегда буду тебя помнить и любить» – и быстро отошел. Единственным человеком, кто испытывал самое настоящее горе, знаешь, кто был?

– Кто?

– Ты. Ты так плакала, Диночка! Так безутешно плакала, что мне стало одновременно и больно, и светло. Я подумала: стоило умереть хотя бы для того, чтобы узнать, как ты меня любишь.

Мама всхлипнула, обхватила двумя руками мой затылок – крепко, но нежно, и притянула меня к себе.

– Диночка, милая моя девочка, спасибо, спасибо...

– А Димка? – Я вывернулась из-под ее рук и отодвинулась к краю скамейки. – А Димка разве не плакал?

– Димка? – Мама горько улыбнулась. – Димка плакал. Только не по мне он плакал.

– Не по тебе? По ком же тогда?

– Он по тебе плакал, Диночка. Он плакал из-за того, что ты так безутешно плачешь, по твоей боли он плакал, по твоему страданию. И, знаешь, что? – Мама вдруг отвернулась. – Он даже возненавидел меня за то, что я своей смертью причинила тебе такую боль. И я... я тоже... его... возненавидела.

– Мама! – Я схватила ее руку и впилась в кожу ногтями. Я знала, что делаю ей больно, но мне хотелось еще, еще больнее. Мне хотелось, чтобы до крови. Чтобы остались шрамы, такие же, как от лезвия, – твердые и гладкие на ощупь, навсегда, на всю ее жизнь... – Мама!

Ей удалось отцепить мои пальцы, хоть и не сразу. Мама поднесла ко рту руку, подула на нее и... улыбнулась мне. Она не обиделась. Не обиделась! Димку возненавидела, а на меня не обиделась... Мне захотелось убежать и никогда больше к ней не приходиться. Не знаю, почему я осталась.

– Это продолжалось недолго, всего минуту, а может, и того меньше, – снова заговорила мама. – ... А потом я обрадовалась, что Дима так тебя любит, и полюбила его снова, по-новому, по-другому полюбила. Я люблю вас обоих, Диночка. И ты приезжай ко мне, хорошо?

– Хорошо. Приеду. Как раньше – во вторник и в пятницу.

– Не сердись больше?

– Нет.

Я ее обманула – я все еще сердилась. Хотя вряд ли это можно назвать «сердилась», просто мне было очень обидно за Димку и отчего-то больно за нее.

Мама поднялась со скамейки и протянула мне руку.

– Пойдем, мне пора возвращаться в палату.

– Пойдем.

Я послушно встала, и мы пошли к ее корпусу. Всю дорогу молчали, но на крыльце, уже у самой двери – я всегда провожала ее до двери, – мама вдруг притянула меня к себе и зашептала на ухо:

– Ты помнишь, о чем я тебя просила?

– Ты разве просила о чем-то? – Я в недоумении смотрела на нее: зачем она шепчет? О чем таком она меня просила, что нужно шептать?

– Забыла? Таблетки. Ты обещала привезти мне таблетки. Церукал. От желудка. Ты поняла меня? Поняла, какие таблетки я прошу?

– Поняла. Церукал.

– Да. Церукал. Запомни. Они лежат на антресоли в «стенке» в третьей секции от двери, в коробке. Стеклобутылочка. Ну, ты увидишь, название написано на этикетке. Привези, хорошо?

– Привезу обязательно. До свидания, мама.

Мне захотелось поскорее уйти, но она меня держала за руку и не отпускала.

– Не забудь, Динка, мне очень нужно. – Она обняла меня и сильно, до боли, поцеловала, я даже ощутила привкус крови во рту. – И вот еще что: если сможешь, привези их завтра.

* * *

Я все рассказала Димке. А в воскресенье мама умерла.

Я знаю, почему она умерла: потому что я все рассказала Димке. Все. А главное – последний наш разговор. Он не смог ей простить ненависти, пусть на одну только минуту возникшей к нему. Не смог простить. А может, Димка испугался, что мама окажет на меня дурное влияние? Я не знаю. Скорее всего, и то, и другое. Он сам повез ей таблетки в больницу – на следующий день, в субботу. А в воскресенье мама умерла. Заснула и не проснулась. Выпила таблетки, которые привез ей Димка, и умерла.

Больше мне не нужно ездить в больницу. Больше никто на меня не оказывает дурного влияния. Больше мама не может ненавидеть Димку – теперь его ненавижу я. Я никогда не смогу простить ему маминой смерти.

Утром позвонили из больницы. Было еще слишком рано, и мы с Димкой спали. К телефону подошел папа – он оказался дома, потому что было воскресенье и мы собирались все вместе поехать к маме. А потом он пришел к нам в комнату... Мама была права – он в самом деле испытывал лишь облегчение. Маскировал его изо всех сил под боль и горе, но врал, врал – никакого горя он не чувствовал! Зачем же тогда отец спасал маму? Зачем каждый раз успевал спасти?

– Дима, Дина! Вставайте! Ваша мама...

Лицо его было мокрым, как будто он смочил его под краном, – так люди не плачут. Папа закрыл лицо руками – наверное, ему стало стыдно, что он испытывает лишь облегчение, – и бросился к Димке. Вернее, на Димку. Он схватил его за плечи, вытащил из постели и с силой тряхнул.

– Ты был вчера в больнице, мне сказали! Это ты привез ей таблетки? Ты?

Димка испуганно вертел головой и делал вид, что ничего не понимает.

– Зачем ты привез ей таблетки?

– Это был церукал, папа! Мама просила, от желудка. Это был церукал. Папа, что с ней? Что с ней случилось, папа?

– Она отравилась. Таблетками. Уснула и не проснулась.

Димка заплакал в голос. Папа заплакал в голос. А я сидела в позе эмбриона в углу кровати и заплакать не могла – так больно мне было, так невыносимо больно.

– Это был церукал! Я не виноват, папа! Динка, я не виноват! Это был церукал!

– Вашей мамы больше нет, – жестко произнес отец. – Ты привез ей таблетки. Зачем ты повез ей таблетки, Дима? Почему ты ничего не сказал мне? Ее больше нет, понимаете?

Димка завизжал. Потом забился под кровать и визжал оттуда. Ужасно, противно. Так визжал, что папа испугался и полез его вытаскивать. Но Димка не давался, уцепился руками за ножку кровати и никак не отпускал. И тогда я подумала: может быть, он в самом деле привез церукал, а мама выпила какие-то другие таблетки?

Церукал, церукал, церукал... Маленькие безобидные белые таблетки от желудка... Почему-то они хранились на антресоли в «стенке», а не в аптечке. Там были и другие лекарства – в ампулах и в пластинках, я не стала тогда их рассматривать. А Димка, наверное, рассмотрел. И привез. Потому что мама на минуту его возненавидела или потому что оказывала на меня дурное влияние.

Папа отодвинул кровать и вытащил Димку. Тот все продолжал визжать. И тут папа сделал такую ужасную вещь! Он размахнулся и ударил Димку по лицу. Брат замолчал – от испуга и удивления, а я закричала и бросилась на отца. Я ударила его по спине кулаком, изо всех сил, как он Димку.

– Это был церукал! Дима ей привез церукал! А ты сам хотел от нее избавиться! Ты хотел с ней развестись, я все слышала!

Папа меня не услышал и не почувствовал боли в спине. Он вообще ничего не слышал и не чувствовал – он склонился над братом и что-то ему говорил странным, неестественным голосом, голосом робота. А Димка лежал на кровати, смотрел на него не отрываясь и слушал это страшное бормотание. Мне показалось, что отец говорит на каком-то непонятном, чужом языке, и я удивилась, как брат его понимает. Наверное, они оба сошли с ума, как мама. Наверное, теперь их обоих положат в больницу, и мы будем встречаться по вторникам и пятницам на нашей с мамой скамейке. А потом... Нет, они не умрут, я не Димка, я никогда, никогда...

– Это был церукал! – закричала я громко-громко, чтобы заглушить сумасшедшее бормотание отца, чтобы убедить себя, что это был на самом деле только церукал.

– Тише, тише... – Папа на секунду оторвался от Димки и повернулся ко мне. – У меня в кабинете в столе ампулы и упаковка шприцев, в верхнем ящике справа. Принеси. Да, там же вата и спирт в маленькой бутылочке. Живей, Дина!

Я бросилась в его кабинет, разыскала ампулы. Значит, лекарства у нас по всей квартире, на разные случаи. Теперь папа хочет Димке сделать укол. Какой укол? Димка маме принес церукал, и она не проснулась. А если и Димка не сможет проснуться? Папа его усыпит, как усыпляют больных собак, чтобы не мучились. Димка мучается от того, что мама... А папа испытывает облегчение от того, что она... И обвиняет Димку, и хочет его усыпить. Нет, если обвиняет, значит, не испытывает облегчения. Или если не испытывает, значит, не обвиняет и не хочет усыпить, значит, укол безобидный. Как церукал, если бы он был просто церукалом.

Я стояла с ампулами и шприцами в руках и не знала, что делать: отнести их папе или спрятать. Я никак не могла решить, никак не могла выбрать.

Не дождавшись меня, папа пришел сам.

– Что ты так долго? Нашла? Давай скорее!

И ушел. Очень быстро, почти побежал. А я осталась в кабинете, забила в нишу между столом и книжным шкафом, обхватила колени руками, закрыла глаза и стала ждать – смерти или пробуждения моего брата.

* * *

Димка не умер. Димка остался жить. И сейчас я ненавижу Димку. Если бы он умер, наверное, я бы его простила. Но он не умер.

Мы с ним совсем не разговариваем. Вернее, это я с ним не разговариваю. Не разговариваю, когда мы просыпаемся утром, не разговариваю, когда мы идем в школу, не разговариваю, когда возвращаемся домой. Даже на похоронах я с ним не разговаривала, и потому не знаю, по ком он плакал: по маме, по мне или из-за того, **что** привез в больницу в бутылочке из-под церукала.

Я устала, очень устала. Ведь это такая тяжелая работа – ненавидеть своего брата. Я хочу перестать ненавидеть и придумываю ему оправдания: маме так лучше, она столько лет мечтала о смерти, Димка только помог ее мечте сбыться...

Я прожила мамину смерть, как проживала ее самоубийства. Я побывала в роли убийцы. Я была мамой, я была медсестрой, которая ее обнаружила, я была Димкой и даже врачом, который поставил диагноз – смерть. Теперь я все знаю и, может, когда-нибудь смогу их простить.

В субботу после завтрака меня тошнило сильнее обычного, и очень заболел желудок, потому что вместо масла дали повидло, кислое сливовое повидло. Я сидела в палате у окна и ждала Дину – она обещала привезти церукал. Но вместо нее увидела Диму и очень расстроилась: он наверняка рассказал о моей просьбе отцу, а тот запретил передавать мне какие бы то ни было лекарства. Но я ошиблась – церукал он привез. И сразу выпила одну таблетку. А минут через пятнадцать поняла, что это совсем не церукал (Дима к тому времени уже ушел, он пробыл недолго), и на секунду испугалась: время пришло... А еще через секунду обрадовалась: теперь никто помешать не сможет. И я стала ждать ночи. Я выпила все таблетки – их в пузырьке оказалось десять. Попрощалась с Диной и Димой, закрыла глаза и начала проваливаться в сон – сон навсегда.

В субботу у меня было ночное дежурство. Мое отделение, в общем, спокойно – за два года работы ни разу ничего серьезного не произошло. Обычно мне удается даже часика три поспать на кушетке. Вот и в ночь с субботы на воскресенье все было спокойно. Я проснулась в полседьмого и решила обойти палаты перед подъемом. Зашла в десятую – под ногой что-то

хрустнуло. В полумраке я не сразу разглядела, что именно. Оказалось, наступила на стеклянную бутылочку. Но не насторожилась, не поняла сначала, что бутылочка – причина беды. Подняла стекла, осторожно расправила этикетку – церукал. Странно. Кто-то из больных принес в палату несанкционированное лекарство? По правилам нашей больницы это почти преступление. Кто мог его совершить? В десятой палате только две больные – Тихомирова и Сухарева. Тихомирова! Она жаловалась на желудок – значит, она. Я включила свет и подошла к Тихомировой. Как странно она лежит, и лицо ее странного цвета, и рука так странно откинута... Пульса не было, я бросилась звать врача.

В субботу я поехал к маме вместо Динки. Сестра мне все рассказала, и теперь я знаю, что нужно сделать. В коробке, где лежал церукал, были и другие лекарства. Я вошел к папе в кабинет, нашел справочник по фармакологии... Десяти таблеток должно хватить. Она сама этого хотела! Она сама только об этом и мечтала! Я не делаю ничего плохого, я просто исполняю ее желание. Динке нельзя больше общаться с мамой, а маме все равно не выздороветь. Так будет лучше для всех.

Я проживала чужие жизни, я проходила чужие пути – я так устала! Я больше не хочу жить не собой, я больше не хочу ненавидеть Димку.

Мы просыпаемся утром и молчим, мы идем в школу и молчим, мы возвращаемся домой и молчим. Школа скоро закончится, мы будем сидеть по разным углам нашей комнаты и молчать.

– Динка! – Димка берет меня за руку – странное ощущение, за последние дни я уже отвыкла от его прикосновений. – Ну куда ты идешь? Разве не видишь, красный!

Что же мне делать? Как я устала! Вырвать руку и бежать на красный, броситься под машину и навсегда, навсегда вернуться к маме? Или Димку простить и остаться с Димкой – навсегда, навсегда?

– Это были не те таблетки, Динка. Мама долго копила из тех, что ей давали. Скопила и выпила. Я не виноват в ее смерти.

Я ему не верю, совсем не верю. Я точно знаю, что таблетки были те самые. Димка держит меня за руку и чуть не плачет.

– Динка, ну честное слово!

У него такие же глаза, как у мамы, – серые, словно подернутые пеплом. Он размахивает рукой, пытаясь меня убедить, – так же, как мама, только не хватает зажатой в пальцах сигареты. Но я все равно ему не верю.

Не верю! Но я так устала... Я не могу больше ненавидеть Димку! Выбор у меня небольшой: можно вырвать руку, побежать вперед, на красный, к маме, или... Я выбираю Димку.

– Да, я знаю. Это были не те таблетки.

Мы улыбаемся друг другу. Светофор загорается зеленым. Мы переходим дорогу, держась за руки. А потом заходим в магазин. Димка покупает на обед большую пиццу и мороженое. Во дворе мы садимся на скамейку и едим и улыбаемся друг другу.

Глава 4

Дина (продолжение)

Целый год мы жили с Димкой душа в душу, почти как раньше. Но вот, кажется, опять намечается разлад. Из-за Юли, умственно отсталой девочки, поселившейся в нашем дворе.

Не могу объяснить даже самой себе, почему я так к ней привязалась. Не из жалости, уж точно. Да и чего ее жалеть? Разве ей хуже, чем всем остальным?

Она улыбается. Она всегда улыбается. Даже когда ей больно, даже когда ей плохо. Правда, не знаю, бывает ли ей больно или плохо. Мне ужасно нравится ее улыбка – никогда и ни у кого я такой раньше не видела. Может быть, из-за этой улыбки я к ней и привязалась? Я пробовала научиться улыбаться так же, но у меня ничего не получилось.

Она улыбалась и тогда, когда я ее первый раз увидела. Лицо у нее было страшно разбито, правая рука неестественно выгнута, а она стояла и улыбалась. Это произошло в день годовщины маминой смерти.

Я была дома одна. Димка с папой поехали на кладбище, вдвоем, в честь годовщины.

А может быть, разлад уже наметился тогда? Мы всегда к маме ездили вдвоем с Димкой, как навещал ее папа и навещал ли вообще, я не знаю и знать не хочу. Я вообще ничего не хочу о нем знать. А тут годовщина. Они оба посчитали, что нужно обязательно ехать всем вместе. Но я отказалась. И на Димку обиделась. А он, наверное, обиделся на меня.

И вот я осталась дома одна и бездумно смотрела в окно. Просто так. За окном, во дворе, ровным счетом ничего интересного не происходило. Да и что могло происходить субботним днем в такое пекло? Май выдался на удивление жарким. Все нормальные люди ушли на пляж или разъехались по дачам.

Я уже совсем собралась бросить свой бесцельный наблюдательный пост и заняться чем-нибудь, и тут во дворе появилась странная фигура – пьяный велосипедист. То есть я так сначала решила, что какой-то здоровенный бугай, совершенно пьяный, взгромоздился на старый подростковый велосипед. Мне стало интересно, и я осталась у окна наблюдать дальше.

Велосипед вилял, словно был не менее пьян, чем седок. Колеса, казалось, заплетались, как ноги. Сам велосипедист был одет в красную бейсболку и коричневую болоньевую куртку – в тридцатиградусную-то жару! Мне стало совсем интересно, и я высунулась из окна, чтобы лучше было видно.

Не знаю, что привлекло его внимание, может быть, звук открывающейся рамы или легкое дребезжание стекла, но он меня увидел. И помахал мне рукой. А мне захотелось ему крикнуть: осторожно, ты и так еле держишься на своем нестойком велосипеде! А он улыбнулся – во всяком случае, мне так показалось – и поехал в мою сторону. Солнце светило ему в глаза, и поэтому он не заметил столбика, вбитого прямо посреди дороги. Его специально установили, чтобы во двор не заезжали машины. Но водители научились преодолевать препятствие – объезжали прямо по клумбе. А вот горе-велосипедист про столбик ничего не знал и, ослепленный солнцем, в него врезался. Грохот раздался такой, словно сбросили с самосвала кузов листового железа. Велосипедист упал вниз лицом на асфальт и остался так лежать. Я замерла возле окна, не зная, что делать: то ли вызывать «Скорую», то ли самой бежать на помощь.

Фигура в коричневой мешковатой куртке медленно, словно нехотя, пошевелилась. И тогда я побежала вниз, захватив по пути вату и йод из аптечки.

Когда я оказалась во дворе, велосипедист уже встал. Лицо его было сильно разбито, правая рука неестественно выгнулась, но он стоял и улыбался. Бейсболка валялась рядом. Велосипедист сделал несколько неуверенных шагов, нагнулся, чтобы ее поднять, но, видно, раздумал и повернулся ко мне. И опять улыбнулся. Мне улыбнулся.

Псих, дошло до меня наконец. И тут я увидела, что это вовсе не он, а она. И еще что-то такое мелькнуло у меня в голове, но не успело оформиться, потому что из подъезда выскочила женщина, подбежала к злосчастному велосипедисту, вернее – велосипедистке, схватила за здоровую руку и, крича, потянула к крыльцу. Я услышала, что психа зовут Юлей и что кто-то Юлю точно теперь убьет, и поняла, что это новые жильцы с первого этажа, которые позавчера выгружали мебель из машины. Женщину – наверное, мать Юли, – я уже видела, и она мне очень не понравилась: худая, как скелет, с лохматыми серыми волосами, в каком-то дурацком платье, похожем на полумойную тряпку, и с такими же полумойными глазами. Мне показалось тогда, что она вся какая-то грязная, а теперь я увидела, что она еще и злая. Женщина тянула Юлю за собой и отчаянно ее ругала, а та шла, выставив вперед больную руку, и улыбалась. Я подумала: как же ей должно быть больно. Почему же она не плачет, а улыбается и так послушно идет за этой неприятной злой женщиной?

Они скрылись в подъезде. Я опустилась на скамейку и только тут обнаружила, что руки у меня заняты. Вата и йод, вот оно что! Я положила на край скамейки так и не пригодившиеся медицинские принадлежности. Я так и назвала про себя – «медицинские принадлежности», и вдруг поняла, что в этом словосочетании содержится разгадка. Разгадка Юлиной улыбки как-то связана со словом «медицинские». А вернее – со словом «медицина».

Я вскочила со скамейки и побежала домой. Я очень спешила, мне нужно было до возвращения Димки с папой проверить свою догадку. Влетела в квартиру, бросилась в кабинет отца, судорожно стала шарить глазами по книжным полкам.

Ага, вот она. «Психиатрия». Толстый коричневый том, потрепанный от долгого употребления.

Это должно быть где-то здесь, ближе к концу, я помню...

Я пролистала еще несколько страниц и увидела... Юлю. Ну да, она. Или почти она. Улыбка уж точно как у нее. Это девочка или женщина? Возраста не разобрать, но очень на Юлю похожа. Вот если бейсболку надеть и коричневую мешковатую куртку, станет в точности Юля. Под фотографией стояла подпись: «Больная олигофренией (имбецильность)».

Имбецильность. Вот, значит, что означает эта улыбка.

Я стала читать статью, посвященную Юле: «У страдающих имбецильностью имеет место конкретный тип мышления. Так, например, больной, обученный элементарному счету на пальцах, не в состоянии решить ту же задачу без их помощи. Один больной мог сосчитать количество пальцев на руках. Но, когда его спрашивали, сколько у него пальцев на ногах, он каждый раз пытался разуться, чтобы произвести подсчет...»

Хлопнула входная дверь – вернулись Димка с папой. Я сунула книгу под футболку и выбежала из кабинета. Проскользнула незаметно в нашу с Димкой комнату. Остановилась, судорожно соображая, куда бы спрятать том. Надежного места, куда бы Димка не смог залезть, не находилось. А спрятать книгу нужно обязательно, причем именно от брата: чего доброго, он опять решит, что меня нужно «ограждать». Я слишком хорошо помнила, чем закончилось его прошлое «ограждение» меня от человека с большой психикой...

Не найдя ничего более подходящего, я сунула книгу в свое постельное белье – потом перепрыгну получше. Димка уже был у двери.

– Как ты? – Он влетел в комнату, я едва успела отскочить от шкафа.

– Нормально.

Я села на Димкину кровать, он плюхнулся рядом. Слава богу, кажется, ничего не заметил!

– Чем занималась? – Он потерся о мое плечо, подлизываясь. Думал, что я на него всерьез обиделась за то, что он поехал на кладбище с папой.

– Да так. Почитала немного. – В общем-то, я его не обманывала: я действительно читала, вот только что именно, знать ему совсем не обязательно.

– Ты на меня сердисься?

– Нет.

– Понимаешь, я не мог ему отказать. А завтра мы с тобой съездим, хорошо?

– Не знаю. Может быть.

– Не сердись, ладно? Папа... Так ведь тоже нельзя, он совсем один. Мы вдвоем, нам проще, а он... Да и потом, что такого, мы и завтра можем.

– Да ладно тебе, я давно уже не сержусь.

– Сердишься, я же вижу. – Он вздохнул с тоской, словно старая преданная собака – хозяин ее ругает, а она не понимает, за что. Мне стало брата жалко. Совсем он запутался: и папе отказать не может, и ужасно боится, что я его не прощу.

Я ему улыбнулась, чтобы показать, что все у нас по-прежнему нормально. Улыбнулась и вспомнила про Юлю, ее улыбку вспомнила. И опять улыбнулась, стараясь, чтобы получилось, как у нее.

Димка расхохотался, обнял меня и повалил на кровать.

– Динка, у тебя такая рожа сейчас была дурацкая, жуть! Ужасно смешная дурацкая рожа!

Я обхватила его за туловище, стараясь подмять под себя. Так мы барахтались и смеялись, и Димка совершенно успокоился, понял, что я на него не сержусь.

– Пойдем обедать, – сказал он, поднимаясь с кровати. – Папа купил пельменей.

– Пойдем. – Я тоже поднялась.

Мы пошли на кухню. Димка стал набирать воду в кастрюлю, а я забралась на подоконник, отодвинула занавеску и выглянула во двор – мне хотелось еще раз увидеть Юлю.

* * *

– Раз, два, три – лови!

Мяч летит через перекладину турника, Юля широко расставляет руки, пытается его поймать. Опять неудача! Мяч отскакивает от ее плеча, катится в траву. Я смотрю, как она, неуклюже передвигаясь, идет, нагибается, шарит рукой в траве. Мяч зеленый, и трава зеленая, найти его Юле не так-то просто. Я терпеливо жду, но не помогаю: она должна справиться сама.

Этот мяч я купила в универмаге специально для нее. Мне больше понравился красный, но зеленый благотворно влияет на психику, и я выбрала этот.

Нашла. Подняла. Идет ко мне, несет мяч, прижав его к животу, как женщина, купившая арбуз, – бережно и торжественно. И улыбается, улыбается...

– Ди-на, – произносит она с натугой и протягивает мне мяч.

Это не слово она сказала, а целое предложение, в переводе на общечеловеческий означающее: Дина, на. И даже больше: Дина, на мяч, возьми его, и будем играть дальше, я еще не устала, мне очень нравится эта замечательная игра, у меня пока еще не все получается, но ведь это же ничего, правда?

Ничего, конечно, ничего. Я принимаю у нее мяч, Юля становится на свое место, широко расставляет руки, ждет.

– Раз, два, три – лови!

Повторяется все сначала. Она еще ни разу не сумела его поймать, хотя мы играем каждый день почти уже месяц.

– Раз, два, три...

Мяч нагрелся на солнце и остро пахнет резиной. Я всегда ненавидела все игры с мячом, но эту придумала сама – для Юли, и она мне нравится.

Юля улыбается.

Я бросаю ей мяч. Когда-нибудь она его все-таки поймает. У нее такие большие, почти мужские руки – ну разве трудно такими поймать мяч? Ей трудно, очень трудно. Но Юля старается, внимательно следит за тем, как летит мяч, напряженно морщит лоб, вытягивает губы

трубочкой. Пот течет по лицу. Ей, должно быть, очень жарко в куртке, но предлагать раздеться бессмысленно – она ни за что ее не снимет.

– Ди-на.

Я смотрю на часы – два. С минуты на минуту появится Димка, практика в школе у них до половины второго.

– Нет, Юля, хватит. Пойдем на крышу.

Нужно скорей уходить, Димка не должен видеть нас вместе.

– Кры-ша!

Юля широко разевает рот, издает звуки, в переводе на общечеловеческий означающие смех. И даже больше: радость, да нет, настоящее счастье. Крыша – любимое Юлино место. Не знаю, помнит ли она еще, что это место придумала для нее я? Вряд ли.

А вообще-то, я не для Юли, то есть не для ее радости придумала крышу, а для того, чтобы прятаться там от Димки. В первый раз я затащила ее туда с большим трудом: она боялась и не хотела идти в незнакомое место, и ей очень трудно было забраться по железной лестнице наверх – она страшно неповоротливая, хоть и очень сильная. Но когда мы наконец преодолели все препятствия и забрались, Юле очень понравилось. Она стояла, выпрямившись и нисколько не боясь, почти на самом краю (это было совершенно безопасно, там высокий бордюр, да и я следила за ней внимательно), смотрела вниз, на наш двор и улыбалась.

Я тоже люблю бывать на крыше. Мне нравится запах нагретого гудрона, солнце, горячее-горячее, совсем не такое, как на земле. А главное, здесь можно не опасаться, что Димка нас обнаружит.

– Ди!

Юля потянула меня за руку – получилось очень сильно и резко. Мяч выпал и укатился далеко в кусты, она пошла за ним, косолапо переступая ногами. Помочь ей искать? Димка вот-вот появится, нужно торопиться.

Я подбегаю к кустам, опережая Юлю. Она останавливается, дальше не идет, перекладывая ответственность за поиски на меня.

Мяч закатился в самую гущу, здесь ей все равно бы ни за что его не найти. Я вылезая из кустов и думаю: не оставить ли его здесь на время, пока мы на крыше, – забираться по шаткой железной лестнице с мячом и Юлей ужасно неудобно. Но как ей все это объяснить?

– Юля, давай мячик положим сюда, а потом заберем.

Стоит, смотрит на меня, улыбается. Поняла или нет?

Беру ее за руку, веду к подъезду. Сначала идет послушно, затем начинает с беспокойством оглядываться, а потом вообще останавливается.

– Мяч! – Показывает рукой на кусты.

– Мы его заберем. Когда с крыши вернемся. Пойдем.

– Мяч!

Нет, без мяча никуда она не пойдет. Что же делать? Занести его к ней домой? Очень не хочется туда заходить – дома Юлина мама, эта неприятная серая скелетообразная женщина. Она всегда дома, ни на работу, никуда вообще не ходит. Я ее немного побаиваюсь. Не потому, что она может мне что-то сделать, просто как-то не по себе становится, когда ее вижу. Наверное, ее нужно жалеть – из-за Юли. А еще из-за мужа. Каждый вечер, как только он приходит с работы домой, из их квартиры слышатся страшные крики и грохот. Скандалит он почти до глубокой ночи, пока не напивается и не засыпает. Очень тяжело живется Юлиной маме, но мне ее совсем не жалко, не знаю даже почему.

Но что же делать с этим чертовым мячом? К нам его тоже нельзя, Димка найдет, начнет расспрашивать, что да почему. Да и Юля не согласится у меня его оставить.

Попытаюсь ее уговорить оставить мяч здесь.

– Юля, нам с мячиком не подняться на крышу, надо оставить его здесь.

– Мяч!

– Понимаешь, нужно выбирать: или мяч, или крыша. Ты ведь хочешь на крышу?

– Кры-ша!

– Вот видишь! Мы мячик оставим в кустах, его никто не возьмет. Посмотри, его совсем не видно. Мячик пока полежит здесь, а потом мы его заберем. Пойдем! – Я беру ее за руку, отвожу от кустов. Вроде идет, не сопротивляется.

Мы поднимаемся по лестнице – Юля жутко топаёт, у нее на ногах тяжелые мужские ботинки – и оказываемся у подножия нашего Эвереста. Теперь предстоит самое сложное. Я много раз объясняла Юле, как нужно залезать на чердак, но она совершенно не в состоянии ничего запомнить. Придется начинать все сначала.

– Смотри, Юля, это совсем не трудно. Здесь всего восемь перекладин. Вот так подтягиваешься на руках и оказываешься на первой, перехватываешь руками и поднимаешься на вторую.

Юля хватается за нижнюю перекладину и повисает, поджав ноги. Начинает раскачиваться, как на турнике, – ей нравится раскачиваться – и совершенно забывает о цели нашего пути.

– Нет, Юля, не так. Нужно подтянуться.

Если бы я могла ее подсадить! Дело пошло бы значительно быстрее.

– Крыша, Юля! Ты ведь хочешь на крышу?

– Кры-ша! – Юля перестает раскачиваться, улыбается, пытается подтянуться. После нескольких неудачных попыток у нее наконец получается.

И вот мы наверху. Сначала подходим к краю и смотрим на наш двор – это уже ритуал. Я держу ее за руку, на всякий случай. Потом садимся на корточки возле вентиляционной трубы, и начинается то, зачем, собственно, мы сюда с таким трудом забрались. Или, скорее, зачем я ее сюда подняла. Зачем я вообще ее сюда поднимаю. Мы разговариваем. Разговариваем о смерти. То есть я говорю, а она... Я даже не знаю, слышит Юля меня или нет, и очень сомневаюсь, что, если слышит, понимает. Я рассказываю ей то, что рассказывала мне мама: о трех неудавшихся самоубийствах, о присутствии на собственных похоронах... но только в этих рассказах главным действующим лицом являюсь я. Мы переживаем мою смерть вместе с Юлей. Она сидит на корточках рядом со мной и улыбается.

Когда затекают ноги, мы вытягиваем их, садимся прямо на пол крыши и делаем перерыв. Я даю Юле конфету – больше всего ей нравится «Райская пенка». Она ест, а я смотрю на нее. Потом вытираю ей рот и руки носовым платком и жду, что она скажет. Мне очень хотелось бы, чтобы в ней пробудилась хоть капля разума, хоть какое-нибудь понимание. Я очень хочу, чтобы она хоть раз сказала: «Дина умрет» и заплакала. Но она только улыбается.

Я продолжаю рассказывать. У меня в запасе еще час – до того, как Димка не начнет беспокоиться, – и еще одна конфета.

Моя новая попытка опять не увенчалась успехом – Юля доела конфету, засмеялась:

– Ах!

Ах – значит, вкусно, хорошо, счастливо, спасибо тебе, Динка, я так люблю конфеты, особенно эти, «Райская пенка». И все. И больше ничего. Она не понимает, не может понять, о чем я ей рассказываю, смерть для нее совсем ничего не значит.

А если повезти ее на кладбище, на мамину могилу? Может, тогда она что-то поймет, почувствует? На кладбище вообще хорошо, мне нравится гулять по кладбищу. Юле тоже должно понравиться. Как бы это устроить?

Димка в школу на практику уходит к девяти, Юля во двор выходит еще раньше. Можно вполне успеть съездить до его возвращения. Только вот неизвестно, как она отнесется к транспорту.

– Юля, хочешь, мы завтра поедем на автобусе, далеко-далеко, в одно очень хорошее место? Там еще лучше, чем здесь, на крыше.

– Кры-ша!

Сидит, перемазанная шоколадом, улыбается.

– Это лучше. Лучше, чем крыша, лучше, чем мяч.

– Мяч!

Улыбка сползает с лица, Юля беспокойно озирается.

– Мяч! Ди-на! Мяч!

Вспомнила, что мы оставили его в кустах, любимую вещь, самую ценную, после крыши и после меня.

– Ладно, пойдем.

– Мяч!

– Мы найдем его, не бойся, ничего с ним не случилось.

Юля поднимается и бежит к люку так быстро, что я еле успеваю взять ее за руку. Мы спускаемся вниз – это намного проще, чем подниматься. Выходим во двор. Я смотрю на наши окна – Димки не видно, значит, безопасно. Достаю из кустов мяч, подаю его Юле.

– Вот твой мяч. Ты поиграй теперь сама, а мне надо домой. Я приду завтра, и мы поедем с тобой на автобусе.

* * *

На кладбище мы не поехали. Из-за Димки. Он все-таки меня выследил. Он следил, оказывается, за мной уже несколько дней. С понедельника. Их тогда отпустили пораньше, и Димка видел меня во дворе вместе с Юлей. Но не подошел, а стал наблюдать: стоял у окна в подъезде на первом этаже и смотрел, как мы играем в мяч. И как раз в тот момент Юлиной маме пришло в голову выносить мусор. Она увидела Димку, подошла к нему и начала расточать благодарности в мой адрес за то, что я вожусь с ее дочерью:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.